ГЖС 541
М 163

В. МАКАРОВ-ЗАРЕЧЕНЕЦ

„ЕГОРЬЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ“

Б.
ГЖС 541
М 163

В. МАКАРОВ-ЗАРЕЧЕНЕЦ

ЕГОРЬЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ

ЗАПИСКИ ПУЛЕМЕТЧИКА
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1914—1918 гг.

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА—1939

К.
П
М 15
1984
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008
БИБЛИОТЕКА
ИМЭЛ
ГЖ 541 Р
М 163
321
39
68915 У

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ИТОГИ

ПОТЕРИ

Убитые (зарегистрированные)	9.998.771	чел.
Тяжело раненные	6.295.512	»
Легко раненные	14.002.039	»
Пропавшие без вести (в том числе разорванные на куски снарядами) и пленные	5.983.600	»
Возникшая в результате войны эпидемия инфлуэнцы унесла в 1918 г.	10.000.000	»

(По подсчетам американского статистика и экономиста Чэйза)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Над рекой плывут молочно-серебристые туманы. Тихо. Еле слышно шумят тополя над обрывом. Свежо. Где-то поют петухи. Проснулись птицы. Легкий ветерок пробегает по вершинам деревьев, сбрасывая с листьев свежие бусинки росы...

Время — пять часов. Встало солнце. Вот оно, разрывая туманы, взрезая облака и тучки, выплыло из-за горизонта и пошло выше, дальше — яркое, сверкающее, спокойное.

Плывет солнце, а над серыми корпусами Эн-ского завода поднялся белый барашек пара. Заречье проснулось, встречая рождение дня гудками заводов.

...Под окном моей квартиры замаячила чья-то замасленная кепка. По стеклу забарабанили два пальца:

— Эй, ушел, что ли?

Я вышел. У ворот стоял мой товарищ по работе, который каждое утро заходил за мной и мы вместе отправлялись на завод.

Поздоровались. Но сегодня, вместо обычного «С добрым утром», товарищ надвинул на глаза

козырек своей кепки, нахмурился и, попыхивая огоньком папиросы, угрюмо спросил:

— Слышал новость-то?

— Нет. А что?

— А вон гляди...

...На углу стоял наш знакомый старичок Андреич, который каждое утро расклеивал по заборам Заречья афиши.

Около Андреича народ. Андреич сегодня мрачный, угрюмый.

— Ты что, старик?

Не ответил. Вздохнув, он ткнул кистью в ведро, где у него был клейстер, помазал им забор, развернул большую желтую афишу, прилепил ее и сокрушенно махнул рукой:

— Вот, глядите.

Я протискался вперед. Начал читать.

Высочайший Манифест.

«Божией милостию, Мы, Николай Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и проч... и проч... объявляем нашим верным подданным...»

Сквозь толпу к манифесту протискался какой-то маляр и, опираясь на кисть, спросил:

— Чего такое? Что объявляют?

— Война! Война объявлена!

Маляр обернулся и растерянно развел руками:

— Народ! Робяты... Что это, а? Опять война... Опять, значит, воевать? За что же? Да что это такое? Неужто мы допустим, а?

Моргая глазами, в которых блестели слезы, маляр бегал от одного человека к другому, что-то говорил, спрашивал.

Подходили люди. Читали. А рядом с манифестом Андреич приклеивал еще одну афишу, с которой метнулось слово:

«МОБИЛИЗАЦИЯ!»

2

Ночь. Волга. Рассекая острым носом темные волжские воды, пароход местной линии быстро бежит вниз по течению уснувшей реки. Над Волгой тишина. Тепло. Легкий ветерок бьет в уши и приятно освежает разгоряченное лицо.

Хорошо на Волге в темную июльскую ночь!

По сторонам парохода мелькают огни бакенов. Чернеют леса и прибрежные горы. Изредка мимо проносится встречный пароход. Салютуя свистками, пароходы расходятся. Снова ночь, тишина июльская; только вздрагивает пароходный корпус, да шлепают, бешено колотя воду, колеса, да звезды отражаются в Волге.

Стою на корме парохода. Бросая за борт окурки, смотрю в ночную тьму и думаю... От кормы идут волны. На воде остается красивая бурлящая полоса; она убегает куда-то вдаль и там исчезает, растворяясь в ночи.

«Эх! Так вот и жизнь моя убежит от меня и пропадет, растворится в грозных, надвигающихся событиях...»

От дум разбудил меня гудок. Уже светало. Пароход, будто падая на один бок, повернулся против течения Волги, убавил ход и плавно подвалил к дебаркадеру.

Вышел на берег. Было зябко. На луговом берегу барахтались в кустах туманы. Блестела Волга. Слышно было, как что-то чавкало под

бортом парохода. Началась погрузка. Сновали грузчики. У мостков пристани суетились торговки с молоком. Ржали лошади. Об песок тихо плескались волны.

На берегу меня окружила толпа подводчиков. Скаля зубы и переругиваясь между собой, они наперебой предлагали мне свои услуги:

— Ну, подвезем, что ли?

— Со мной! Айда со мной! Гляди-ка — в тарантасе!

Я отказался от их услуг и решил итти пешком. Близко. До деревни — двадцать верст. Дорога селами, полями, лесом. Местность своя — каждый бугорок знакомый.

...По закону мне нужно было призываться по месту своего рождения. Двенадцатилетним парнишкой выбросила меня деревня из отцовского дома, погнала на заработок, за куском хлеба. И вот опять в деревню, на призыв; а с призыва — на фронт! Разом нарушился привычный ход жизни, оборвались все мечты и надежды...

Вдали показался лес. Солнце поднялось выше. Стало жарче. Я прибавил шагу и вскоре вошел под тенистый шатер деревьев. Бросился на траву. Было приятно, прохладно. Вспомнилось детство. Давно ли, кажется — вчера, я собирал здесь ягоды, орехи, грибы.

Отдохнул, пошагал дальше. Вышел из леса. Впереди, верстах в двух от меня, забелела церковь. Кругом были ржаные поля. Виднелись ветрянки. Над полями на разные голоса пели и свистели птицы. Навстречу мне, словно указывая дорогу, клонились колосья хлебов. А вправо, защищенная с севера большой горой, зеленела деревушка. Вся она утопала в садах. Среди зелени

дома казались издали маленькими игрушечными коробочками, которые шаловливый ребенок разбросал по ковру.

Народ был в полях. Жали рожь. Завидя меня, бабы и мужики бросали работу и, разгибая усталые спины, выходили к дороге.

— А-а, Ванюшка! На побывку?

— На призыв!

— Ах ты, господи...

Подошел к деревне. Мимо кладбища ехала телега со снопами. Рядом с пегой лошаденкой шагал высокий старик в пестрой рубахе и в лаптях.

— Тятя?

Старик вздрогнул. Увидя меня, растопырил руки, выронил кнут.

— Сына! Ты ли это? Вот не гадал, не чаял...

Поздоровались. Увидя нас, с завалинок поднимались старухи с ребятами на руках; из окон выглядывали старики. Здоровались. Откуда-то появились белоголовые малыши. Они забегали вперед, заглядывали мне в лицо и незаметно исчезали, разнося по деревне новость:

— У Михайловых дядя Ваня приехал!

Вот и наша изба. Ничего не изменилось. Все старое, все попрежнему — только будто все меньше стало. Или это я вырос? Ведь в детстве мне все казалось большим — и изба, и сени, и сарай.

В избе тихо. В чулане возилась мать. На ней был тот же, что и десять лет назад, наряд: кубовый сарафан со множеством пуговиц, на ногах — плетенные из лыка «коты», на голове белый — в горошек — платок.

— Здравствуйте!

Мать всплеснула руками и заголосила. Стало как-то неловко. Я успокоил ее, поцеловал и, чтобы прекратить ее плач, попросил молока.

— Сейчас, сынынька... Сейчас, Ванечек мой...

Прибежала с поля сестра. Ко двору и в избу собрались соседи, знакомые, мои товарищи. Ради свиданья выпили, закусили. Разговорились.

— Не во-время затеяли эту войну! — сказал отец. — Как же: на дворе страда, хлеб убирать надо, а тут весь народ заберут... Куда это годится?

Поговорили, разошлись. Мать начала убирать со стола посуду. Отец, покачивая головой, сидел на лавке и вздыхал.

— Что, тятя?

— Эх, Ваня, Ваня! Вот она, сына, и жизнь. Уходишь. А куда? На погибель свою... А я-то ждал, я надеялся: вот, мол, отдохну на старости лет, внучат поняньчаю... Ан нет, не выходит, сына, по нашему-то! Эх, господи, господи, и чего это царю понадобилось?

И заплакал бедный старик.

3

Вышел на улицу. Было тихо, тепло и как-то особенно легко. За околицей садилось солнце. По улице — от домов и ветел в овраге тянулись длинные, широкие тени. Из садов несло запахом яблок и прохладой.

С полей возвращалось стадо. Шли коровы, мерно покачивая рогатыми головами, важно, словно купчихи из церкви, переваливались из стороны в сторону и протяжным мычанием звали хозяек, которые встречали своих «Вечерок» и «Красулек» с куском посоленного хлеба.

Ко мне подошел чей-то теленок. Он постоял около меня, облизнулся и замычал. Не получая привета, мотнул головой, похлопал ушами и, задрав свой хвост, с громким криком побежал вдоль улицы.

Около завалинки копошились цыплята. Прищурив глаз, лежала, виляя хвостом, собака. Гоготали возвращающиеся с речки гуси.

Деревня! Родина ты моя... Неужели через два-три дня я прощусь с тобой, быть может, навсегда — и уйду туда, где ждет... что там ждет меня — и сам не знаю...

4

Вечер. По улицам с гармонями, в обнимку гуляли рекруты.

А в избах перед иконами на коленях стояли матери и горячими слезами обливали пол.

Помню: на второй, кажется, день моего приезда домой, я проснулся ночью и услышал шопот. Это моя мать сидела около моей постели, гладила рукой мои волосы, всхлипывала и тихо шептала:

— Встану я, младешенька, рано-утренней зарей, умоюсь холодной росой, утрусь мать-сырой землей, завалюсь за белокаменной стеной. Ты, стена ли, стена белокаменная, не пускай врагов-супостатов: дюжих австрияков, окаянную силу немецкую. Лягу я, млада-девица, во стану ли во ратным. А во этом ли во стану во ратным есть могуч-богатыри-ратники княжрй породы, голубых кровей, со святые земли русские. Вы, богатыри-могуч-люди ратные, перебейте вы злых людей — рать немецкую, полоните в полон земли герман-

ские. А я бы был из-за вас цел-невредим-живехонек и во добром во здравии.

Мне было жалко мать. Улыбнулся:

— Ты чего это?

Мать припала ко мне на грудь и зашептала:

— А ты лежи, лежи, сынок... Молчи, мой миленький, молчи... Ведь для тебя, сынок, все для тебя. Знаешь, материнская-то молитва на воде не тонет и в огне не горит...

Мать «заговаривала» меня от смерти, а по улицам ходили рекруты, играла гармонь, звенела песня. Она перекатывалась по садам, плутала по переулкам и где-то далеко-далеко замирала отголосками:

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья.
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья.

5

Рассветало. Подул еле слышный ветерок. Поднялись с лугов густые туманы. Небо стало светлее, а на востоке оно, точно молоко в печке, подернулось румяной коркой зари.

Казалось — ничего не случилось, все шло своим порядком: взошло солнце, защебетали птицы, было тихо, тепло. И только люди в этот тихий, предутренний час начали свою обычную жизнь не по-обычному.

Первым на улице показался пастух. Он прошел в конец деревни, остановился там и заиграл в рожок.

Стадо тронулось в поле. Мычали коровы, телята; блеяли овцы и ягнята. Густым басом ревел бык...

...Наша семья встала еще до зари. Несмотря на ранний час, отец где-то успел уже выпить, и, пока мать готовила завтрак, он, кряхтя и пошатываясь, мазал дегтем телегу.

Мазал, а в лагун с дегтем капали слезы...

Сели завтракать, но завтрак остался нетронутым. Есть не хотелось. Молчали.

Отец посмотрел в окно, потом перекрестился и сказал:

— Ну, сына, да благословит тебя господь на подвиг ратный...

Я встал на колени, перекрестился и поклонился отцу в ноги. Он благословил меня и передал икону матери.

— Благослови, мать, сына...

Вместо благословения, мать заплакала.

— Ладно, мама, не плачь...

Вышли на двор. У крыльца стояла запряженная лошадь. Отец оправил на телеге сено, поставил мой зеленый «солдатский» сундучок, взял в руки вожжи.

— Анна, открой-ка ворота...

Выехать сразу не удалось. С крыльца сбежала мать. Она упала под ноги «Пегашке» и билась, рыдала, каталась по земле, рвала на своей голове седые волосы, свой кубовый сарафан, царапала желтую сморщенную грудь—будто хотела вырвать страшную боль из своего старого материнского сердца.

Отец, вытирая слезы, слез с телеги, взял в охапку мать и отнес ее в сени. Потом выбежал на двор, вскочил в телегу и ударил «Пегашку» кнутом:

— Но-о, распроклятый!

От каждого дома, из каждого переулка выезжали

подводы. Позади телег плелись матери, жены, детишки...

— Прощайте!

— Счастливый путь!

За околицей, вблизи кладбища, где сходятся со всех сторон четыре дороги, стояла часовенка. Здесь собралась почти вся деревня. На проводы приехал даже волостной старшина — в синей, тонкого сукна поддевке, в сапогах «гармонью» и с медной медалью на шее.

Откашлявшись, старшина встал на тарантас, снял с головы картуз с блестящим козырьком и, поглаживая рукой свою «холеную» бороду, обратился к нам с прощальной речью:

— Некрута! Вот чего скажу... На прощанье мир ставит вам бочонок водки! Слышите? Три ведра! Пейте, но смотрите, чтоб воевали там храбро! Правильна? Ну, вот... Так. Грудью встаньте, братцы, за царя и веру православную! Грудью! При до самой границы без передыха — и весь разговор! Правильна я говорю? Ну, вот. А теперь...

Понятые выкатили бочонок с водкой, поставили его на «попа», вышибли дно. Старшина подошел первым, почерпнул маленький ковшик водки, перекрестился и выпил. Выпив, потряс ковшиком:

— Ура, ребята!

— Ура-а-а!

Рекруты выпили бочонок водки, потребовали еще. Старшина «раскошелился», купил второй, за свои деньги. И этот выпили. А когда к часовенке пришел поп, то все — и рекруты и провожающие — были вдребезги пьяны.

Когда «батюшка» стал благословлять рекрутов, к нему подошел парень с двухрядкой через плечо. Он наигрывал «Подгорную» и орал:

— Благословляй, батяня! Н-на, в останный раз!

Поп покропил парня водой, а парень, целуя крест, оборвал «Подгорную» и отчаянно вскрикнул:

— Ы-ых! Не сыграть мне больше на тебе, двухрядочка! Так н-на тебе! — грохнул гармонь о камень и заревел: — Дорогая, отыграла! Так н-на тебе, не доставайся никому!..

После молебна стали прощаться. Многие рекруты, не выдержав последних, особенно тяжелых минут, бросали своих родных, вскакивали в телеги, нахлестывали лошадей и с гиком, с криком, с ревом гнали их вперед.

5

Было тихое июльское утро. Городок еще спал. Внизу, под горой, плавно и спокойно катила свои воды Волга. Слышен был шум проходившего парохода. На колокольне собора кричали галки. Они сидели на крестах, поднимались в воздух и, удивленно крича, смотрели оттуда на площадь.

А площадь гудела народом, криками, песнями.

— Ти-ш-ша! Внимания!

Задребезжал звонок. Площадь зашумела сильнее. Рекруты и провожающие двинулись ближе.

На крыльцо приемной вышел писарь. Поднял руку. Когда успокоились, сказал:

— Первой призывается Никифоровская волость! Старшина Никифоровской волости здесь?

Из толпы вышел старшина. Подойдя к крыльцу, снял картуз, надел на шею медаль, встал во «фрунт» и отрапортовал:

— Здеся мы!

— Давай свою волость.

Повернувшись к народу, старшина скомандовал:

— Смирна! Никифоровская волость, шагом-марш!

На крыльцо приемной входили первые новобранцы.

7

Часам к двум очередь дошла до меня. С каким-то туманом в глазах и с шумом в стриженой голове я взошел на крыльцо приемной. Помню, как заскрипели под ногами ступени, отворилась дверь.

— Михайлов?

— Да.

— Раздевайся!

Пока до меня доходила очередь, я сидел и смотрел на новобранцев. Их щупали, взвешивали, выстукивали, и новобранцы — сильные, здоровые парни трусили, боялись. Они послушно повертывались, вставали, садились, а доктора, стукнув раза два-три пальцами по груди, слушали в трубку сердце, хлопали новобранца по спине и басили:

— Годен!

— Следующий!

Врачи и члены призывной комиссии, поглядывая на меня, о чем-то совещались.

— Лоб!

Покачиваясь, я вышел на крыльцо. — Отец встретил меня тревожно:

— Ну что, сына, как?

...Он понял без слов. Тихо мы пошли к своей телеге.

8

Утром приехали на станцию Шихраны. Остановились на привокзальной площади. Отец выпряг лошадь, привязал ее к телеге, дал корму, и мы пошли на станцию. С трудом протискались в помещение вокзала, потоптались там и, не найдя свободного места, вышли на перрон.

На перроне гулянье. Прохаживались шихранские барышни, в пестрых платьях и с букетами цветов в руках; метались деревенские бабы, в широких, как карусель, юбках, и среди этой пестрой и разношерстной толпы — мы, новобранцы.

Вот прощается со своей женой молодой, красивый новобранец. Жена повисла у него на шее и уже не плачет, а только ухает, вздрагивая всем телом. Парень неуклюже обнимает жену, гладит ее по спине и в сотый раз, кажется, наказывает:

— Баба, смотри — блюди себя!

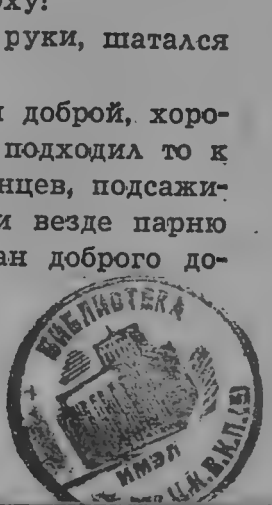
В сторонке от других, на лужайке сидит кучка мужиков и баб. Все они приехали провожать неуклюжего, как медвежонка, парня Егора. Бабы сидят, разговаривают, мужики пьют пиво, а Егор стоит в кругу и, словно петушок, хорохорится:

— Ха! Ребяты! Хрен ли унывать-та?! Пырнуло штыком в пузо — и лапти кверху!

По перрону, заложив в карманы руки, шатался стройный, здоровый парень.

Блестя зубами, он улыбался всем доброй, хорошей улыбкой, подмигивал и смело подходил то к одной, то к другой группе новобранцев, подсаживался, заводил разговоры — и почти везде парню перепадала рюмка водки или стакан доброго домашнего пива.

68915



— Правильно! — говорит веселый парень. — Где ему сдюжать: как вдарим — так...

И, не спросясь, садится в кружок, угощает Егора папироской.

Егор смотрит на парня, интересуется:

— А ты что, тоже на позицию?

— На позицию.

— А! Значит, вместях служить будем? Дело. Садись давай.

Парень подсел ближе. Егор налил новому «земляку» пива:

— Ну-ка, с новым-то знакомством — дерябни!

Парень «дерябнул». Вытирая рукавом губы, завел разговор: похвалил пиво, Егорову жену и посоветовал Егору держаться на службе и на войне вместе. Егор рад, благодарит парня и подносит еще стакан пива.

Я остался один. От нечего делать закурил, задумался...

— Позвольте прикурить...

Поднимаю глаза — передо мной стоит веселый парень. Прищуря свои серые глаза, улыбнулся. Прикурил. Сел рядом. Спросил, указывая на багаж:

— Тоже едете? Да-с. Чьи будете?

Я рассказал, кто и откуда я. Выслушал внимательно и с завистью заметил:

— Из завода, значит? Хорошо. Рабочий... Так-так. Оно сразу видно... А я, вот, — тряхнул он волосами, — один я! Ни родных, ни знакомых... Весь я тут, как белочка.

— А вы откуда?

— Да с Волги я. Волгарь. Хе-хе-с! Воду от берегов отталкивал.

Разговорились. Парня звали Андреем Шараги-

ным. Он действительно был «волгарем» — служил на пароходах матросом, «плавал» на плотах, «ходил» на баржах...

Жизнь у Андрея была богатая. Он рассказал мне кратко о своих приключениях, о скитаниях по Волге и по белому свету, и его рассказ, и задор, с каким он говорил о себе, и его веселость, и какая-то бесшабашная беспечность и, особенно, его улыбка (бабы любят, когда им улыбаются так) невольно привлекли меня к Андрею — и не прошло и пяти минут, а мы уже познакомились и подружились.

На станции пробил колокол.

— На посадку!

Поднялась суматоха. Новобранцы и провожающие бросились к вагонам. Андрей тоже вскочил, схватил свой багаж, засуетился, заорал:

— Айда, Иван! Айда в один вагон! Скорее...

Кое-как пробились к вагону. Вошли. Андрей пробежал по вагону из конца в конец, вернулся обратно.

— Давай! Давай сюда! Лезь на верхнюю полку! Так. Сюда! Здесь спокойней будет.

Минут через сорок на станции опять ударили в колокол. Где-то в хвосте поезда раздался свисток обер-кондуктора. Ему ответил гудок паровоза.

— Поехали!

Рядом с нашим вагоном бежал какой-то мужичонка. Он пьяный, едва стоит на ногах, но бежит, спотыкается, машет фуражкой и кричит:

— Ягор! А, Ягор! Друг любезный... Эй! Смотряй — пиши, не забывай!

А из окна вагона высунулся «друг любезный» и мычит:

— С-св-ат... М-милай! Давай пяро с чернилами — счас напишу! в м-мамент!

Паровоз рванул вперед. Эшелон пошел быстрее. Чаще застучали колеса. Люди на станции становились все меньше и меньше и, наконец, пропали из вида. Шихраны уплыли куда-то вдаль. Вместе с ними уплывала наша старая жизнь.

9

Едем. Я — на верхней полке. Напротив меня — мой новый товарищ — Андрюшка Шарагин. Внизу под нами — казанский татарин. Одна полка — нижняя — свободна.

Шарагин завертывает папироску, закуривает и, набрав полный рот дыма, выпускает его вниз, на татарина. Тот морщится и нехотя поднимает голову. Андрюшка смеется:

— Будет дрыхнуть-та! Вставай, закуривай.

Татарин встает и несмело тянется к махорке; трясущимися руками свертывает толстую цыгарку, но ничего у него не выходит: бумага рвется, махорка сыплется... Андрюшка помогает ему. Цыгарка свернута. Татарин закуривает, делает затяжку, захлебывается дымом и долго, со слезами на глазах, кашляет.

— Что, — смеется Шарагин, — не выходит дело-то? Эх ты, — куряка! А ты привыкай. Годится. Знаешь пословицу: «Солдат шилом бреется, табачным дымом греется». Ты чей будешь, дальний?

— Казанский мин. Атряс-деревня слышал? Во! Атрясский я. Ахмет Галеев. Малый Атряс моя деревня.

— Семейный?

— Э-э, канечна! Баба дома оставался да два баранчук есть — маленький: Ибрай да Суфья.

— У-у! сколько их у тебя много. Да-а... Плохо женатым на войну итти.

Татарин машет рукой.

— Плохо. Ай, плохо... Когда я поехал, два пудка хлеба-то оставался. Э-э... Чего мой баранчук кушать-то будет? Неурожай наша сторона-то был. И земля мало. Совсем мало: пойдет моя в поля, один конец делянка стоишь, другой конца калякают — слышно: вот какой моя земля!

...Мимо нашего «купе» идет новый «земляк» Шарагина — Егор, восхвалявший в Шихранах силу русского штыка. Увидя Шарагина, остановился.

— А, Егор! — улыбается Андрюшка. — Ну, как дела-то?

— Дела? Дела — как сажа бела! Э, да тут у вас койка свободная есть...

Егор уходит и вскоре возвращается обратно с маленьким сундучком и с целым ворохом каких-то мешков и узелков с домашними продуктами.

— Эка, набрал сколько! — удивляется Андрюшка. — Кажется, на всю войну запас?

— Да баба все это моя, — оправдывается Егор. — Известно — бабы: разве с ними сговоришься...

Егор начал развязывать свои узелочки и раздавать нам сдобные лепешки, какие-то булочки, пирожки...

— Вот, Иван, — говорит Шарагин, уминая за обе щеки кусок Егорова пирога, — есть еще, оказывается, на белом свете хорошие люди... Д-да-а... Спасибо, Егор. Может, и мы тебе когда-нибудь пригодимся.

— О! На войне, голова, всяко придется... Один там — пропадешь! А вы ешьте, ешьте... Эй, слазь, давай оттеда. Ну! Давай, за компанью...

Все садимся за маленький столик у окна и начинаем уничтожать Егоровы запасы, а он, пошарив в каком-то мешочке, достал бутылку водки и, потрясая ею, заорал:

— Пымал! Пымал, робята! Вот она... Давайте-ка ее тово... А то на войне-то не знай когда придется...

Мы не отказываемся, выпиваем. За выпивкой Егор спрашивает:

— Робяты! А, как по-вашему, долго эта война будет?

— Ну, долго — дня четыре...

— О!

— А что?

— Да ведь не знай, как воевать-то будем...

— Фу, как! Бей на то, чтобы в первом же бою Егорьевского кавалера заслужить. А что? Сказывали, вон — кто Егорьевский крест заслужит на войне, тому земли прирежут!

— А если — татарин, дают ему крест? Но-о? Мне тоже, мал-мала, земля-то, надо бы. Моя земля такой — маленький больно: один конца делянка-то стоишь, калякаешь на другой конца — каляк-то слышно.

Так ехали. Мимо окон эшелона бежали поля, луга и долины; попадались села и деревни, веселым хороводом кружились деревья, леса; мелькали телеграфные столбы, разъезды, будки...

Паровоз, разбрасывая косматые шапки пара, взрезая воздух, летел вперед. Свистел ветер. Поднималась пыль. Отчетливо гремели на стыках ко-

леса. Качались вагоны. За поездом стлался пышный дымовой султан и, не в силах догнать, оседал на кустах и постепенно расплывался по полям.

10

В левой стороне блеснула Волга. За ней смутно вырисовывались широкие просторы лугового берега. В синеватой полумгле июльского дня причудливо повис над Волгой железнодорожный мост. А прямо, раскинувшись по горе, виднелся Симбирск.

Эшелон подошел к товарной станции.

— Ну вот и приехали...

На станции нас уже ждало начальство. По деревянной платформе — вдоль эшелона, положив на эфес своей шашки руку в белой перчатке, прохаживался какой-то прапорщик. Закуривая, он подошел к нашему вагону.

— Ну, как доехали, ребята?

— Слава богу, ваше благородие, благополучно!

В это время в вагоне кто-то сморкнулся, да так громко, что офицер заинтересовался:

— Это кто у вас такой сопливый?

Новобранцы переглянулись между собой, улыбнулись:

— Шарагин это, ваше благородие...

— Какой Шарагин?

К окну подошел Шарагин.

— Я Шарагин!

— Ну-у? Ты что такой сопливый?

Андрюшка улыбнулся:

— А это я, ваше благородие, двое суток на печи валялся, так у меня коленку животом схватило и в левую ногу насморком отозвалось...

— Ха-ха-ха! — захохотал прапорщик. — А ты, оказывается, забавный парень! А?

— Ну, забавный, — плюнул Андрюшка в окно.— У меня дедушка забавнее меня, покойный, был.

— Н-ну? Чем это он?

— На бабушке старик подох и не покаялся...

Прапорщик прыснул от смеха, покачал головой:

— Ну и чудак! Как тебя звать-то?

— Меня-то? Андреем, ваше благородие.

— Андреем? У-с, чорт... Значит, тезка мне? Так, так. Ну, Андрей, пойдешь в мою команду?

— Зачем?

— Служить.

— А-а, служить! А я думал — кашу есть...

Так началось наше знакомство с одним из офицеров царской армии — с Андреем Александровичем Буреновым.

Из вагонов, гремя сундучками и болтая котомками, начали выпрыгивать новобранцы.

Показался высокий и прямой, как палка, человек в военной форме, с темнорыжей щетиной на голове и с такими же подстриженными «щеточкой» и торчащими вперед, как настоящая сапожная щетка, усами.

Человек похож на командира: фуражка не солдатская, на плечах — погоны с широкой нашивкой.

— Кто это такой?

— Этот? У-у, — хмурится Шарагин, — это — главная шкура...

— Кто?

— Фельдфебель.

Я смотрю на этого «страшного» человека. Вот он прошел мимо нас. У него какие-то темные

глаза, густые брови и широкий, похожий на утиный, нос. На носу — угри.

Фельдфебель прошелся мимо нас и остановился перед Буреновым.

— Ваше благородие, прикажете построить?

— Построй, Пахомов.

Пахомов, — как, оказалось, звали фельдфебеля, — оправил свой ремень и каким-то сухим, «деревянным» голосом крикнул:

— Становись!

Шарахнулись новобранцы от этой команды, вздрогнули, засуетились.

— Не так! Не так!

Пахомов указывает, как надо строиться, ругается. Но строй у нас почему-то не выходил: стояли кучей, лицами в разные стороны, топтались на одном месте, толкали друг друга...

Тогда к строю подошел Буренов и отрывисто, громко:

— Становись! У-с, чорт! Что за люди, на земле стоять не умеют! Становись, по четыре человека в ряд! По четыре. Так. Равняйсь! У-с, чорт... Ты, там! Убери брюхо-то назад! Что выставил его, как лукошко?

Напуганные грозным голосом Буренова и его «У-с, чортом», новобранцы еще больше спутали и расстроили ряды.

Наконец построились. Буренов отошел в сторону, закурил. Пахомов встал на правый бок нашей колонны и скомандовал:

— Рота! Ша-гом — арш! Запевай!

Тронулись. Взяли «ногу». Шагаем, и не понимаем, что хотят от нас командой «запевай». Молчим. Тогда Буренов подбежал ближе и «заругался»:

— У-с, чорт! Чего молчите? Запевай! Ну, ты? —

обратился он к Егору Буракову.—Ты что, в строю идешь или в табуне?

— Зачем?

— Запевай, давай!

Бураков покраснел и тихо запел:

Пошли девки на работу...

Буренов остановился, осмотрел нашу колонну и улыбнулся:

— Вот-вот, давно бы так... У-с, чорт, а вы что не поете? Все, ребята, пойте, все! А ну-ну, р-раз, два, три!

На работу, кума, на работу,
На работу, кума, на работу,—

заорали мы в разноголосицу, и среди этого крика и гама отчетливо выделился звонкий голос Шарагина.

Буренов заметил это, остановился.

— Ого! Тенор? Это кто там — Шарагин? О, молодец! Талант, талант... А ну отдери, Андрей, веселее!

Песня кое-как наладилась. Хорошо спели как «девки на работе пропотели» и «покупаться захотели», вышло и то, как у одной девки «вор Игнашка спер рубашку», все шло хорошо, гладко, весело.

Егор Бураков запевал:

Эта девка не стыдлива:
За Игнашкой попылила...

А мы с присвистом, с подголосками подхватывали припев:

Попылила, кума, попылила;
Попылила, кума, попылила!

Но как дошли до матерного места — спутались, осеклись, замолчали... Стыдно стало.

Фельдфебель заставил петь.

И так, с матершиной, мы вошли во двор казармы, матершиной начали свою службу царю и отечеству.

11

Первую ночь провели в каких-то бараках. Спали на соломенных тюфяках. И не выспались. Большинство новобранцев почти всю ночь воевало с клопами и вшами.

Часа через два я уже проснулся, сбросил с себя одеяло и сел. Все тело чесалось, зудело, точно оно было исхлестано крапивой. Сна уже не было. Заложив за голову руки, лег и лежал так, прислушиваясь к ночной жизни барака.

В бараке — как в погребе: сыро, мрачно, холодно. Разметавшись на нарах, храпят новобранцы. Спят тревожно: чмокая губами, охая и вскрикивая — спросонья от укусов клопов и вшей.

Где-то около двери барака слышны шаги дневального, который тихо напевал песенку:

Над возморьем мы стояли,
Да на германском берегу.
Тпру-да ну, ну-да-тпру —
Да — на германском берегу...

Около меня лежит Андрюшка Шарагин. По нему ползают клопы. Я снял одного, раздавил. Шарагин проснулся:

— Ты чего?

— Клопы, вон, тебя...

— А-ах! — зевнул Андрюшка и сел. Посидев ми-

нуты две-три, ничего не соображая, он запустил в голову обе пятерни и начал чесаться. Расчесав таким образом свои волосы, Андрюшка поднял рубаху и стал немилосердно драть ногтями брюхо.

— Ну и жрут...

— Не говори!

— А что будет на войне-то?

Вопрос Андрея застал меня врасплох. Я и сам еще не знал, что будет на войне, и невпопад ответил:

— Пропадем, Андрей!

— Ну, уж — дудки, чтоб я пропал. Да что я — дурак, что ли?

— А что?

12

На третий день по приезде в Симбирск началось формирование частей.

Утром, едва только горнист «поднял» зорю, всех новобранцев выгнали на плац и построили во фронт. Стоим. Фельдфебель Пахомов «держит» перед нами первое «военное» слово, поучает:

— Ребята! Это вот — строй. А строй для солдата, это — святое место! Поняли? Ну, вот. А теперь смотрите, как надо стоять в строю. В строю стоят так: глаза должны видеть грудь третьего стоящего от вас человека. Вот так. Руки—по швам. Локоть должон касаться локтя соседа. Пятки вместе, носки — врозь. Поняли?

— Так точно, ваше благородие!

Пахомов покрутил усы и тяжело вздохнул:

— Не так. Я для вас еще не «ваше благородие», а «господин обучающий» или «господин фельдфебель». Поняли?

— Так точно, господин обучающий!

— Ну, вот. А теперь — слушай мою команду. Равняйсь!

Началась разбивка на роты, на взводы и отделения. Я был назначен в 1-й взвод 2-й роты 21-го Сибирского ее величества стрелкового полка. Вместе со мной в эту роту попали мои товарищи: Андрей Шарагин, Ахмет Галеев и Егор Бураков.

После разбивки узнали, что нашей ротой будет командовать штабс-капитан Годовицын, а Буренов будет командиром пулеметной команды.

Буренова нельзя было назвать красивым. Но это был такой человек, что с первой же встречи, с одного взгляда вызывал к себе симпатию. Высокий, плотный, чуть сутуловатый, с пегими, подстриженными по-«английски» усами, с узким бордюром черных волос вокруг небольшой лысины, с добродушным взглядом своих серых глаз, какой-то спокойный и суровый, — прапорщик Буренов вскоре стал для нас родным и близким человеком.

Случалось, бывало, попадешь впросак; фельдфебель Пахомов грел нас за это и в хвост и в гриву, даже бил. А Буренов подойдет, посмотрит прямо в глаза, прищурится и скажет:

— Ты что же это, парень, а? Я на тебя надеялся, а ты? У-с, чорт!

И от этого «У-с, чорта», и от острого взгляда Буренова становилось как-то неловко, стыдно — и в следующий раз уже стараешься не допускать оплошности.

13

Во дворе казармы горнист уже «поднял» утреннюю зорю. По палатам пронесся зычный голос дневального:

— Вставай!

Встаем. Проворно одеваемся и, оправляя на ходу гимнастерки, выбегаем на плац. На плацу нас уже ждало все наше начальство. Все они сегодня почему-то строгие, торжественные, подтянутые.

В стороне от нас длинными рядами стоят в пирамидах новенькие винтовки. Мы смотрим на них и догадываемся:

— Ага! Значит, присягу будем принимать...

Годовицын поздоровался с нами и объявил, что сейчас должен приехать командир нашего полка. Он привезет с собой полковое знамя, познакомится с солдатами, скажет нам напутственное слово к присяге, — а поэтому мы должны показать себя лицом, чтобы ему, Годовицыну, не пришлось краснеть перед командиром за свою роту.

Говорил вяло, неохотно. Хмурился, кусал свои губы, часто снимая и надевая на руки перчатки.

Командир полка ее величества полковник Георгий Нелькин приехал после поверки на автомобиле. Это был тучный, багроволицый, с большими седыми усами вояка, лет за сорок пять. Он поздоровался с командирами, лениво ответил на их приветствия и козырнул нам:

— Здорово, молодцы!

— Здрай желаем, ваше выско-родие!

— Штабс-капитан, распустите строй, приготовьте людей для принятия воинской присяги...

Вернулись в казарму, умылись, почистили сапоги, обмундирование и стали ждать присягу.

Интересно было. Нам говорили, что присяга — это самое главное для солдата. До присяги солдат еще туда-сюда, но раз принял присягу, то это — ого-го-го, брат!

Что означало это «ого-го-го, брат!», мы не знали, расспрашивали Пахомова, старых солдат, друг друга...

И вот настал час присяги. Нам не терпится:

— Ваше благородие, скоро, что ли, на присягу-то, а?

Пахомов глядит на нас, молча шевелит усами, потом говорит серьезно и строго:

— Скоро, скоро! Ложки-то захватили, что ли?

— Ложки? А зачем ложки-то?

Фельдфебель невозмутим. Пряча в усах улыбку, говорит:

— Хы! Зачем... А присягу-то хлебать чем будете?

— А она какая, господин обучающий?

— Ну вот — какая, какая... Ты, Бураков, дома говел, наверное?

Бураков обиженно возражает:

— Вот еще! Что я — нехристь, что ли?

— Причастья поп тебе давал после исповеди?

— А как же, как же...

— Много?

— Ну, много. Так, с чайную ложку...

— Ну вот и присяга, вроде причастья. Только покрепче будет. Да, да. Причастье-то ведь всем, без разбору дают: и бабам, и младенцам... А тут — специально для нас. Понял?

— Будто понял, — говорит Егор, — только ложки-то зачем? Чать, у попа-то своя есть — золотая.

— Золотая, золотая! Ты знаешь, сколько в полку вашего брата? Как баранов в стаде. Ну вот.

Если каждому в рот по ложке совать, так не только у попа руки, крылья у мельницы отвалятся.

— А как же тогда?

— Сами хлебать будете!

— Так ведь ложки-то у нас хлебальные...

Пахомов осердился, обозвал Буракова дураком и уже не Егору, а всем пояснил:

— В великий пост, например, говеть может всякий. Это каждый год можно. А тут присяга на верность царю императору, можно сказать — на всю жизнь. Так неужели для такого случая хлебальной ложки присяги для солдата пожалеют!

— Да-а... Это сколько же присяги-то для нашего брата надо?

— Ведрами дают! Да, да. Ее прямо в купель, где ребятишек крестят, наливают. Да, да. Вбухают ведер пять-шесть, и хлебай. Мало — сторож еще подольет.

— А где ее берут, господин обучающий?

— Где, где! Дня за три, наверное, сорокаведерную бочку уже привезли... Иди, вон, погляди, в правом пределе стоит...

Сомнения наши рассеяны. Мы достаем свои хлебальные ложки, обтираем их и прячем за голенища сапог.

14

К присяге привели после обедни. В церкви было строго, торжественно. На амвоне, среди портретов царя и царицы, стояло воткнутое в пирамиду винтовок наше полковое знамя — белое, роскошно отделанное шелковое полотнище с вышитой царской короной, с инициалами императрицы, с круп-

ными золотыми буквами: «С нами бог» «Сим победиши».

Когда в последний раз закрылись «царские» врата, на амвон вышел наш полковой батюшка — отец Макарий с большим распятием в руках. Он благословил нас и тихо, по-старчески запел какой-то тропарь.

Солдаты молились. А Егор Бураков, стоявший около меня, все глядел по сторонам и тихонько спрашивал:

— Иван, а где присяга-то?

Признаться, я и сам несколько раз заглядывал в правый притвор церкви, где должна была быть обещанная Пахомовым бочка с присягой. Но ни бочки, ни присяги не было.

Кончив петь, отец Макарий опять благословил нас распятием и, показывая рукой в алтарь, пригласил:

— Воины, приготовьтесь к таинству принятия святой присяги...

Дрожа, я шагнул на амвон и левой боковой дверью вошел в алтарь. Здесь меня встретил стоящий за аналоем отец Макарий. На аналое — крест и евангелие. Священник перекрестил меня и указал пальцем на пол, около своих ног. Я опустился на колени. Священник накрыл меня «патрахилью», — как мы называли похожую на фартук принадлежность поповской одежды, — и, указывая своим перстом на распятие, угрожающе прошептал:

— Повторяй за мной! Я, солдат 21-го Сибирского ее величества стрелкового полка...

— Я, — солдат 21-го Сибирского ее величества стрелкового полка... — повторил я.

— Иван Михайлов...

— Иван Михайлов...

— Отрекся от сохи-бороны, от матери и жены, от родной стороны и трижды перед крестом и евангелием клянусь верой и правдой и кровью своей служить царю, престолу и отечеству...

Я повторил слова присяги. Священник еще раз благословил меня, дал поцеловать распятие.

— Посылай там следующего.

Встал я, отошел от аналоя и зашатался... Голова закружилась, в глазах потемнело. Ударила мысль: «Отрекся! Да, отрекся...»

После присяги мы собираемся вместе, закуриваем.

Ахмет Галеев, принимавший присягу у муллы сокрушается:

— Эх, ребята! Бяда-то какой...

— Какой?

— О-ой, калякать-то страшно! Е-бог. «Деревня-то,— мулла говорит,— теперь у меня нет. Жена-то, дети — тоже нет». Ай, чего миня делать-то будет, ребята?

15

Вечерами мы выходили на двор, садились на бревна, закуривали. Вокруг Шарагина моментально собиралась чуть ли не вся рота.

— А ну-ка, Андрюша, сказочку-другую...

Сказок Андрюшка знал сотни, анекдотов — тысячи, а шуток, прибауток, поговорок — без счета, и так умел преподносить их, что солдаты, слушая его, ржали.

Однажды Андрюшка рассказывал нам, как солдат чорта перехитрил.

Смеясь и слушая Андрюшку, мы не заметили, как к нам подошел Буренов. А он подошел, почему-то скучный, грустный, встал в сторонке — и минут через пять уже искренне хохотал над похождениями Андрюшкина солдата.

— Шарагин! Чорт! Да с твоей головой, с твоей смекалкой тебе бы, знаешь, где надо быть?

— Где, ваше благородие?

— Узнаешь завтра!

На другой день после этого разговора Андрюшку вызвали в ротную канцелярию и объявили там, что он, Андрей Шарагин, назначается во вновь сформированную пулеметную команду.

Это известие не обрадовало Андрюшку. Встретив Буренова, он стал упрашивать его: нельзя ли как-нибудь освободиться от этой команды...

Буренов, по своему обыкновению, начал расхваливать звание пулеметчика, стал советовать, чтобы он учился пулеметному делу.

— Да что ты, Шарагин! Я тебе лучшего хочу, а ты...

— Да, ваше благородие, а как я с ребятами расстанусь?

— Ах, с ребятами! У-с, чорт... Чудак, так мы формируем целую команду, вот я и хочу всю вашу компанию пулеметчиками сделать. Согласен?

16

Погожее утро. Холодновато. Симбирск еще спит, а мы, забрав с собой деревянные пулеметы с трещотками, винтовки, учебные патроны, идем на строевые занятия.

— Солдат должен быть как пружинный!—пояс-

нил Пахомов.— На войне, на службе царской с солдатом всякое могет произойти — и солдат должон из всякой беды найти выход, должон из воды сухим вылезти, из огня неопалимым выйти. Поняли?

— Понять-то поняли, а как это «из воды сухим, из пламя неопаленным» выйти?

— Как? Очень даже просто. Для этого каждый солдат должон знать на зубок всю военную науку!

Ох, и доставался нам этот «зубок» военной науки...

Особенно труден был один ружейный прием: «Выпад, по команде: «Коли!» Состоял он в том: Пахомов выстраивал группу в две шеренги. Мы подавались вперед, падали на левую полусогнутую ногу и выбрасывали на вытянутые руки тяжелые, двенадцатифунтовые винтовки с привинченными штыками. А Пахомов, отойдя в сторону, прищуривался, глядел и покрикивал:

— Эй! Равновесно! Равновесно держать...

Держать «равновесно» было не так-то легко: винтовка «ныряла» вниз, руки немели, начинали дрожать ноги...

Тогда Пахомов подходил к кому-нибудь и спрашивал:

— Ты что, кур дома воровал, что ли?

— Нет, зачем! Каких кур?

— А почему у тебя руки дрожат?

— Руки? Равновесия нет, господин обучающий.

— А-а, равновесия... Ложа, что ли, у тебя назад перетягивает? Ну, это дело можно исправить.

Пахомов снимает с головы солдата фуражку и вешает ее на штык.

— Стой, стой! Вот тебе и равновесия...

А когда Пахомов командовал «вольно», когда мы расходились из строя и хотели закурить, то руки так дрожали, что не свернешь папироски — пальцы не разгибались.

После закурки разбиваемся опять на группы. Пахомов делается страшно важным и недоступным. Стоит около пирамиды винтовок и, поглаживая усы, выкрикивает:

— Эй, кто там — Михайлов? Так, так. Михайлов! Идешь ты, скажем, по городу... Так? Идешь, а навстречу тебе господин офицер идет. Покажи мне, какую честь ты должон ему отдать?

Я отдаю Пахомову «офицерскую» честь. Ему нравится.

— Хорошо! Молодца, Михайлов! Следующий! Бураков!

Чувствуется — Егор трусит. Пахомов смотрит на него и медленно говорит:

— Ну-с, вот что, Бураков... Отдай честь просто — мне.

Бураков, высоко, по-«журавлиному», поднимая ноги, идет к Пахомову. Подойдя, встает, щелкая каблуками, неуклюже поворачивается к фельдфебелю и приставляет к виску ребро своей ладони.

— Дурак! — рявкает Пахомов.— Я что тебе — полковник, что ли?

— Виноват! — бормочет Егор.— Виноват, ваше благородие...

— Следующий!

Из шеренги вышел Шарагин. Пахомов, опираясь на палочку и приосаниваясь, спрашивает:

— Шарагин, ты солдат?

— Так точно, господин обучающий!

— Так. Хорошо. А теперь представь себе, что я вот — енерал. Да. Иду по садику. И вот, иду я,

а навстречу мне попадается солдат Шарагин. Какую честь он должон мне отдать — как енералу?

Шарагин подтянулся и, печатая шаг, идет к Пахомову. Шагов за десять — двенадцать до «енерала» берет поворот налево и застывает с поднятой к виску рукой на месте.

Пахомов неспеша, по-«енеральски», проходит мимо. Андрюшка провожает его медленным поворотом головы и «ест» глазами. Пахомов смотрит и изрекает:

— Пенек ты, Шарагин, а не солдат! Да, да. Ты должон стоять перед енералом — как дуб перед грозой! А у тебя вся туловища туды-сюды вертается... Куда это годится? Ладно. Хватит так. Теперь мы будем учиться по-другому. Вы будете учить друг друга, а я полежу немного и буду на вас глядеть. Разбейтесь на пары и начинайте.

Под мое «командование» попал Егор Бураков. Я отвел его в сторону и начал учить. Но Егору трудно давалось мое «ученье», он путался, трусил, делал массу ошибок, устал...

Пахомов глядел-глядел на нас и подошел ближе.

— А-а, плохой из тебя командир, Михайлов...

— Почему?

— Так. Какого чорта он у тебя не понимает?

— Ничего, господин обучающий, привыкнет...

— Чорта с два он привыкнет! Он — лодырь хороший!

Бураков виновато улыбнулся и откровенно сознается:

— Малограмотный я, ваше благородие...

— Балбес! А зачем тут грамота нужна?

— Да, все-таки...

— Все-таки, все-таки... Тебе что тут — гемназия,

али ниверситет? Руку поднять и без грамоты можно. Ты — просто...

— В-винов-ват! В-вин-нов-ват, ваше благородие...

— Виноват, виноват! Михайлов, дай ему по ряжке — сразу поймет! Слышишь? Дай ему в нюхальник, живо поймет!

Что? Ударить Егора, своего товарища?

Непонимающе я уставился на Пахомова и заморгал глазами.

— Что пялишь буркалы? Не слышал моего приказа? Вдарь ему!

Я отказался. И в следующее мгновение ко мне подскочил Пахомов и сразмаху закатил мне такую оплеуху, что у меня в ушах зазвенело.

— Ваше бла-а-а...

— М-малчать! Строй — святое место для солдата! Смирно! Как стоишь, сукин сын? Строй — святое...

Я застыл в «святом» месте. Пахомов развернулся и ударил меня еще раз. И так стояли мы, два товарища, два солдата; а третий солдат, только в чине фельдфебеля и с золотой нашивкой на погонах, ни за что ни про что бил нас.

Подравшись, Пахомов закуривает, обводит своих «учеников» долгим взглядом и говорит:

— Постой, кто нам скажет? Ага! Галеев!

— Ий-е! — вскакивает Ахмет.

— Дурак! — спокойно встречает Ахмета Пахомов. — Баран-башка ты. Сколько разов я говорил тебе, Галеев, чтобы ты не иекал, а отвечал так, как этого требует устав: то есть — «Я!» Понял?

— Ийе, ийе, ваша благородие...

— Опять иекаешь? У-у-у, пенек дубовый... Как стоишь?

Ахмет мнется, спрашивает:

— Как стоять-то, ваша благородие?

— Вот как! Понял? А ты? Как ты руки держишь? Руки!

Опуская по швам руки, Ахмет каменеет. Пахомову нравится, он улыбается:

— Так! А теперь скажи ты нам вот чего. Слушай! Стоял бы ты, Галеев, например, во дворце государя императора на часах. И вот. Стоял бы ты, и вдруг на-тебе: идет сама государыня императрица. Как бы ты ее возвеличал, Ахмет Галеев?

Ахмет молчит. Пахомов уходит в угол «палаты», поворачивается обратно:

— Ну, Галеев?

Ахмет глотает слюни, пожимает плечами, глупо улыбается:

— Э-э-э, ваша благородие! Миня не будут на дворец-то, на часы-то ставить...

— Ну, а допустим. Допустим, поставят. На службе, брат, всяко бывает. Ты стоишь, а тут — государыня выходит и говорит: «Здравствуй, Ахмет Галеев!» Как бы ты должен возвеличать свою матушку-государыню?

Ахмет опять молчит и шмыгает носом. Пахомов начинает злиться:

— Енерал! Чо фырчишь соплями-то, верблюдина господня? Говори: как величать государыню императрицу?

— Ваша благородие, не знает моя, как ее, государыня-то, величать... Ей-бог, не знаю...

— Дуру гнешь, Галеев. Дуру. Как это — «моя не знает»? Я тебе вечор еще приказал, чтобы ты от слова до слова вызубрил весь титул государыни? А ты?

— Титул, титул, — повторяет Ахмет. — Не знает моя титул-то, ваше благородие... Ей-бог, не знаю.

— Да как же! Я тебе вечор книжку дал? Дал. В той книжке про титул написано? Написано. Так какого же ты чорта загибаешь!

Ахмет виновато улыбается, но не сдается и говорит:

— Ваше благородие, я не понимаю русский-то язык...

— Ну, нашел выход! Если не знаешь, товарищей бы попросил, которые в грамоте знают. Вот бы Михайлова или Шарагина спросил.

— Я спрашивал. Михайлов-та миня говорил, да у миня память-то, ваше благородие, такой — маленький совсем...

Пахомов начинает сердиться и повышает голос:

— Но-но! Разговорился больно много... Садись давай да чухай, что умные люди говорить будут. Вот. А после занятий пойдешь на два часа под винтовку.

Вздыхая, Ахмет садится. Пахомов снова ходит по «палате» и намечает очередную жертву словесности.

— Михайлов!

— Я-ау!

— Тьфу ты, чорт! Чего орешь? Знаю, что ты. Не велика цапля... А вот, если ты, то скажи нам, Михайлов, полные титулы царской семьи!

Встаю, оглядываюсь. Вокруг меня, точно вынутые из воды сазаны, сидят солдаты. Все смотрят на меня, ждут ответа. Но что сказать? Ну, хоть убей меня — не знал я полных титулов царской семьи, да и только.

А Пахомов ругается, торопит:

— Ну, ну, Михайлов, семеро одного не ждут...

Я проглатываю густую слюну и тихо говорю:

— Не скажу, господин обучающий.

— Что-о? — выпрямился Пахомов.— Это что у тебя за секрет?

— Позабыл...

— Позабыл? Ах, Михайлов, Михайлов! Такой солдат и позабыл? А-я-й! Забыл, значит? Ну, это еще беда не велика, мы ее сейчас поправим... Ступай-ка, Михайлов, поговори с матерью.

Разговор с матерью был для нас самым позорным наказанием. Он состоял в том, что провинившийся солдат открывал печную трубу и кричал в нее, прося у матери помощи и совета, и ругал себя дураком.

Подошел я к печке, открыл трубу и начал протяжно кричать:

— Мама! Какой я у тебя дурак... Ма-а-м, скажи мне полные титулы царской семьи...

Кричу, а около меня ходит Пахомов и смеется:

— Хо-хо! Вот это здорово... Сам сознается, что дурак... Ну и Михайлов... И не стыдно тебе, а?

— Стыдно, господин обучающий.

— Вот, вот. Вот и я тоже говорю...

Поговорив с матерью, я сажусь на свое место. Пахомов поругал меня, посмеялся и пошел дальше.

— Бураков! А ну-ка, помнишь ли ты, чему я учил тебя?

Бураков побледнел. Потом бледность сменилась ярким румянцем, и Егор, посапывая и шмыгая носом, уныло смотрит на Пахомова.

— Ну, что пялишь на меня зенки-то! Узоры на мине увидел, да?

— Нет. Никак нет, узоров не имеется...

— А нет на мине узоров, так говори!

Вчера Пахомов поставил Буракова на два часа под винтовку за то, что он не выучил титул государя императора, и обещал еще высечь розгами, если он не выучит титула к следующему занятию по словесности.

Бураков часов до трех ночи не спал и все бормотал про себя: «Его императорское величество...» и на зубок выучил весь титул государя и теперь с нетерпеньем ждал вопроса Пахомова, чтобы показать свое знание и хоть раз получить не наказание, а похвалу. Но получилось наоборот. Пахомов намекнул на что-то своим «говори», с минуту помедлил, наслаждаясь волнением Буракова, и потом быстро спросил:

— Кто у нас внутренний враг?

Бураков разинул рот, взволнованно глотнул воздух и медленно, сквозь зубы, выпалил:

— Его императорское величество!

— Что-о-о?

Звонкая пощечина. Бураков сразмаху плюхнулся на пол и, ничего не соображая, отупело глядит на Пахомова.

— Ты у меня только повтори еще раз... — хрипит Пахомов, боязливо оглядываясь по сторонам.—Повтори-ка, дубина проклятая...

Егор молча пятится назад, с ужасом глядит на Пахомова и бормочет:

— Виноват! Виноват, ваше благородие...

— Дурак!

— Точно так, ваше благородие!

— И я дурак, что связался с тобой!

— Так точно, ваше благородие!

— Что-о-о? Что ты сказал?

— Так точно, никак нет, ваше благородие...

— Чего, чего?

— Не могу знать, ваше благородие...

— Я тебе дам — «не могу знать»... Повтори, что сказал!

— Так точно, никак нет, не могу знать, ваше благородие!

— Чалдон! Чорт ты вятский! — орет Пахомов. — Чего жуешь? Я про что тебя спрашивал, а? Повтори-ка...

— Ваше благородие, запамятовал я...

— Запамятовал? — переспрашивает Пахомов.— Запамятовал? Ладно, я тебе сейчас напомню... А ну-ка, пятьсот шагов гусиного марша!

— Эх! — вздохнул Бураков и пошел маршировать по-«гусиному». Пахомов улыбнулся, сказал: «Так!» и опять крикнул:

— Шарагин!

— Я!

— Ну, и ладно. Знаю, что ты. А вот, если ты, то скажи нам все чинопочитания нашей армии.

Шарагин встал и, морща лоб, начал перечислять своих непосредственных командиров.

Задача эта — нелегкая. Но сначала у Андрюшки дело шло хорошо: он уже перевалил за корпусного и как-то вдруг осекся, застопорился и начал зачем-то оправлять свою гимнастерку.

— Ну, дальше?

— Позабыл, господин обучающий.

— Эх! И ты позабыл? Ах, Шарагин, Шарагин... Ну, ничего, иди, спроси у матери, она скажет.

— Нет, нет!

— Что-о? — рявкает Пахомов. — К матери!

Потупив глаза и повесив голову, Шарагин пошел к печке. И вот среди всеобщей тишины, страха и напряжения солдаты полка ее величества начали проделывать глупейшие и унизительные занятия: Шарагин кричал в трубу: «Мама, какой я ду-ра-а-ак!», а по полу, глотая соленые слезы и обливаясь потом, Егор Бураков отсчитывал третью сотню «гусиных» шагов и, как ребенок, тараторил:

Ходи теща, ходи тесть,
У нас много браги есть!

А посредине «палаты», уперев в бока руки, стоял Пахомов и, ворочая белками своих глаз, удивлялся:

— Хо! Видали дураков, ребята? Ну, не смешно ли это, а?

— Смешно, господин обучающий.

— Смешно? А какого чорта не смеетесь?

Что делать? Приходится смеяться. И вот вся рота, двести пятьдесят здоровых парней, начинает смеяться. Сначала тихо, потом все сильнее и сильнее — и, наконец, своды «палаты» гудят от сплошного гоготания:

— Гы-гы-гы!

— Ха-а-а-аха-ха!

— Го-о-о-го-го!

— Хо-о-охо-хо-хо!

Насмеялись. Пахомов доволен. Он велит Шарагину сесть на место. Тот сел. А когда Бураков отмерил «порцию» «гуся», Пахомов опять спрашивает его, но на этот раз уже не про внутреннего врага, а про внешнего, — и Егор, всхлипывая и шмыгая носом, опять начинает бормотать:

— Ды, эт-та! Внешнай — это враг, ваша благородие...

— Ну, знаю. Знаю, враг. А кто?

— Ну, кто? Ну, турок, там, австрийцы, герман, так сказать...

— Вот, вот! Молодца! Правильно. Еще немного — и из тебя, Бураков, хороший дипломат могет выйти, честное слово. Садись давай!

Под конец занятия мы просто балдеем. Устает и Пахомов. Он становится злее, матерится, бьет нас — и, наконец, говорит:

— Ну, ладно. На сегодня хватит. Но если ты, сукин сын, не выучишь мне к завтраму полный титул государя императора, я тебя без хлеба сожру! Можно разойтись!

С глубоким чувством облегчения расходимся.

17

Вечером, после занятия, мы сидим во дворе казармы и в ожидании ужина и поверки курим, разговариваем...

Шарагин рассказывает сказки. Вокруг него — толпа солдат. Им весело, они хохочут, а Андрюшка «непареное» гнет:

— Вот, ребята, отслужился наш солдат в старинной армии — и пошел до дома топать. Итти ему — далеко. Да ладно, идет. Ноги не казенные...

По дороге зашел он в одну деревушку. Проситься ночевать. Ладно. Староста дал ему понятого, и тот поставил нашего солдата на постой в одну избенку, к старику со старухой.

Старики сиротами были: детей у них не было, скотины тоже. А был у них один бычок годовалый: черненький-черненький и со звездочкой на лбу.

Любили старики бычка. Души не чаяли. И про-

звали его «Бынюшкой». «Бынюшка» да «Бынюшка» — так и звали.

Ну, вот. Приходит солдат, поздоровался.

— Так и так, мол, на постой к вам прислали...

Добрые люди были, приняли солдата. Старуха самовар поставила. Старик за полбутылкой сбегал. И сидят, чаек да водочку хлебают. Солдат про службу говорит, старик—про жизнь свою, а старуха сидит только да слушает.

Солдат хвалится:

— Жить можно, бабушка. Хорошо можно жить... Честное слово! Да вот, смотри на меня: сапоги у меня — «голые», шинель самого галантерейного сукна: под дождем мокнет, на солнце сохнет, в грязи замарается—и опять обновляется. И притом же человеком сделали. Обтесали немного, да так, что дай бог всех, только не каждого так тесали. Да, да, бабушка. Ну вот, тебе врешь, а ты не веришь. Верно, верно. А то... Что я был до службы-то? Бык-быком!

— Как это, батюшка, бык-быком?

— А обыкновенным быком, бабушка, какие в стаде ходят.

— Ну? Так быком и был, солдатик?

— Настоящим быком!

— И на службе из тебя человека сделали?

— У-у-у, еще какого!

— Ха! Удивительно...

Задумалась старуха, про себя вспоминает...

— А что, солдатик, нельзя ли из нашего «Бынюшки» солдата сделать, а? А то: детей у нас нет, сироты мы; а сделали бы из «Бынюшки» человека, сынка нам, он бы нас поил, кормил да на старости покоил...

— А сколько «Бынюшке» годков, бабушка?

— Годков-то? А второй годок, солдатик. С Семеона-зимнего второй годок пошел нашему «Бынюшке». Выйдет, что ли, из него солдат-то?

— Выйдет! Сделать это—проще пареной репы...

— Как?

— Да проще репы. Напишу я своему начальству рапорт, вы отведете «Бынюшку» в город, а через три года—получайте солдата, а может, и офицера.

Обрадовались старики. Старуха угостила солдата пирогом с морковью, старик—водкой, и пошли глядеть «Бынюшку».

Стоит в конюшне «Бынюшка»—бык-быком и мычит по-бычьи. Не чует, что из него солдата собираются делать.

Осмотрели «Бынюшку», потолковали. Солдат написал своему бывшему фельдфебелю письмо с изложением всего дела и с просьбой принять «Бынюшку» на службу. А на утро ушел домой, а старик со старухой закупоросили «Бынюшку» на веревку и повели его в город. Нашли там казарму, отыскали фельдфебеля и отдали ему солдатово письмо. Тот прочитал, сообразил в чем дело и отдал распоряжение отправить на первых порах «Бынюшку» на кухню, а старикам дал расписку и велел приходить через три года за сыном-солдатом.

И вот ровно через три года являются старики к воротам казармы и спрашивают дневального про своего сыночка.

— А в какой он роте, как его фамилия?

— Не знаем, служивый, не знаем, где. Дома-то мы его «Бынюшкой» звали, а сейчас, наверное, как-нибудь по-солдатски прозывается.

Дневальный, желая помочь старикам отыскать

их сына, начинает перебирать подходящие фамилии:

— Быков?

— Нет.

— Бычков? Вычихин? Выченко?

Старики не знают, на какой фамилии остановиться. Тогда дневальный спрашивает:

— А в каком он у вас чине?

Получив ответ, что «Бынюшка» теперь наверное уже в начальниках ходит, так как дома он был теленок хитрый, понятливый, только немного бестолковый,—дневальный направил наших стариков к офицеру Выннееву.

Приходят старики, стучат в дверь:

— Сынок, отопри-ка...

А офицер Выннеев в это время был под «мухой». Вышел на стук и слова сказать не может, только мычит:

— Мы-мы-мы-ы! Кто-о-о там-м-а-а-а?

Старуха обрадовалась, шепчет старику:

— Он, отец, он! Слышь, мычанье-то его... «Бынюшка» мой...

Офицер смотрит — старики какие-то стоят.

— Что надо, сиволапые?

Вот тут-то старуху и прорвало...

— Ах ты, сукин сын! — говорит она офицеру. — Родителей своих не признаешь! Да я тебя, да мы тебя... Чорт драный! В деревне-то бык-быком был и мычал по-бычьи, а теперь ахфицером стал так и отца-мать не признаешь!

Офицер не поймет — в чем дело. Мычит только:

— Эм-му-у! Па-а-звольте...

— Я тебе позволю! — кричит старуха. — Собирайся, сукин сын, домой, да живо! Мы тебя, да я тебя... Ятапом потребуем, через полицию! При-

едешь домой, наденем лапти, в пастухи отдадим, коли так, все кусок хлеба заработаешь!

Долго ругалась старуха. И напрасно. Офицер велел своему денщику прогнать стариков в три шеи и не подпускать их к его квартире на пушечный выстрел.

Погоревали старик со старухой, пожаловались:

— Вот какая скотина наш «Бынюшка», когда был бык-быком, ничего, а сделали из него офицера, так он и отца с матерью признавать не хочет. Скотина!»

Андрюшка рассказывает, солдаты хохочут, им весело... А посреди двора, на небольшом возвышении, стоит Ахмет. На нем полная нагрузка: винтовка, ранец с песком, скатка шинели, котелок, патронташ. Вес этой нагрузки — семьдесят два фунта, около двух пудов. Тяжело. Ахмет устал. Винтовка в его руках, взятая на-караул, качается, ранец с песком перетягивает назад. Но Ахмет стоит как свеча, ему даже нельзя пошевелиться: сделай он хоть малейшее движение, и ему опять влепят два-три внеочередных наряда и заставят опять стоять под винтовкой, чистить уборные или картошку, колоть дрова...

Вечереет. На двор казармы спускаются сумерки. Из кухни входит дежурный и начинает звонить в небольшой караульный колокол:

— На ужин!

Забыто все: и «Бынюшка», и сказка. Мы бежим за котелками, становимся длинной цепью в очередь, получаем котелок супа, блюдо «грешной» каши, вынимаем из-за голенищ сапогов деревянные ложки и идем ужинать.

После ужина — перекличка. Еще прожевывая кусочки хлеба и остатки каши, становимся в строй.

Потом встаем на молитву.

Один день службы прошел. Усталые, измученные и полуголодные, мы расходимся по «палатам», залезаем на нары и, подложив под головы руки, лежим так, думая каждый о своем.

Десять часов вечера. Тушат свет. Тихо. Темно. С нар несется тяжелое дыхание двух с половиной сотен людей. Солдаты спят.

18

Однажды в воскресенье, в первый раз за всю службу, дали нам увольнительные записки и мы отправились гулять. Нам хотелось посмотреть город, отдохнуть, полюбоваться с «венца» Волгой, подышать свежим, не казарменным воздухом.

Хорошо в Симбирске, особенно вечерами.

Внизу, под горой, медленно и плавно катит свои воды широкая Волга. Плывут по ней красавцы-пароходы, буксиры с баржами, тянутся плоты... По мосту прохочут поезда. В садах — народ, гулянье. Синеет в зареве заката левый, луговой берег Волги. Тонут в заволжских просторах леса, деревушки...

Да, хорошо в Симбирске вечерами! Только не солдату царской армии...

Собрались мы, пошли. И покаялись. И не мудрено. На каждой улице, на каждом углу нас, солдат, ожидала беда.

Вечерами щегольские офицеры со звоном шпор, с бряцанием шашек, целыми толпами ходили по улицам, и нам почти-что на каждом шагу приходилось «козырять» и отдавать честь.

— Тьфу ты, чорт! — плюнул Шарагин. — Айда-те хоть на другую улицу, может — веселее будет. А тут, того и гляди, наряд за что-нибудь получишь!

Ушли на другую улицу. Здесь народу нет, скучно. Поругались, вернулись к городскому саду.

— О! Вот где веселье-то, ребята!

В саду было гулянье. Играла духовая музыка. Мелькали в ситцевых платьях симбирские «зазнобы». Было так хорошо, красиво и приятно, что наши ноги сами собой направились в сад.

Подошли к калитке. В это время мимо нас проходили какие-то дамы. Одна из них, высокая, пышногрудая, говорила своей подруге:

— Знаете, в наш садик теперь нельзя даже войти.

— Почему?

— Ах, почему! Там теперь такая публика, такая публика... Одна солдатня с кухарками да с горняшками.

— Да, да, ужас что творится! Везде одни солдаты... Я не дождусь, когда их угонят на войну!

Дамы прошли в сад. Егор Бураков смотрит им вслед и качает головой:

— Ну, неужели это, ребята, не озорство, а? Хуже собак нашего брата считают... Да что мы — не люди, что ли?

И разом отпала охота и к гулянью и к отдыху. Вместо сада пошли на окраину Симбирска, достали там у одной шинкарки водки и отправились на берег Волги.

Выпили. Немного захмелели. А у пьяных — разговоры пошли.

— Ну и жизнь, ребята, — говорит Шарагин. — В казарме перед всякой сволочью трясись, и на воле хуже собак считают... Все равно это не

жизнь. Тюрьма — так тюрьма! Кому она — яма, а нашему брату — родная мама!

— Эка ты храбрый какой!

— Да уж не как ты, рохля...

— А ты покажи храбрость, чем хвалиться-то. Это лучше будет.

— О-о-о! У меня — не вожжой тряхнет! Только вот чего, — не выйдет в одиночку эта штучка. Вот если бы вы помогли, всей компанией бы взяться, тогда бы это дело — как на якорь посадить было можно!

— Какое дело?

— Дело? Тальянить надо, ребята!

— Как — тальянить?

— А очень просто. Нам, скажем, пищу плохую дают — не есть ее, на стрельбища погонят — знай валяй во белый свет, а не в мишени.

— А нас за это...

— Ничего не будет! Сначала мы, потом — другие; а там весь полк, вся армия начнет...

...Ночью у нас было «тайное» собрание. Поговорив и посоветовавшись с остальными солдатами нашей роты, мы решили начать свою «тальянку» с фельдфебеля Пахомова.

В этот день шел дождь. Вместо строевых занятий нам преподнесли «теорию» военного дела: заставили чистить винтовки и пулеметы. Сидим, чистим. Пахомов тут же. Он ходит по «палате», глядит на нашу работу и кое-кому задает вопросы.

Остановился около Шарагина. Тот в это время наматывал на шомпол паклю, чтобы прочистить и смазать ствол винтовки.

— Шарагин, скажи мине: для чего существует шомпол?

С невозмутимым видом Андрюшка встал со своего места и, сдерживая улыбку, ответил:

— Шомпол существует для того, чтобы прочищать вот эту дыру.

— Чего, чего?

— Прочищать дыру.

И Шарагин ткнул пальцем в дуло винтовки.

— Ты чего это, серьезно?

— Так точно, господин обучающий!

Пахомов не понимал наших намерений и за каждый «номер» нашей «тальянки» наказывал нас беспощадно. Почти каждый день кто-нибудь из нас обязательно получал наряд или какое-нибудь взыскание. Были дни, когда мы всей «компанией» стояли под винтовками, ходили вне очереди в караулах или чистили уборные.

Однажды ночью нас поодиночке и целыми партиями арестовали и под конвоем отправили на гауптвахту. Так кончилась наша знаменитая «тальянка», наше «пассивное» сопротивление начальству, службе и солдатской жизни.

19

Сидим на «губе». Темно. Холодно. На окнах — решетки, в нарах клопы, на дверях замок, около дверей — часовые...

Кроме нас, в камере сидел сапер Максим Громанюк.

Вот уже вторую неделю Громанюк сидит под арестом, за что — неизвестно.

Когда мы пришли, Громанюк лежал на нарах и читал какую-то книжку. Увидя нас, встал, поздоровался:

— А-а, милости прошу, ребята!

— Здравствуй! За что сидишь?

— А вы за что?

Андрюшка рассказал ему о нашей «тальянке». Громанюк выслушал его и засмеялся:

— Протестовали, значит? Эх вы, дураки! Право, дураки. Да разве это протест? Это — игрушки. Уж если протестовать, то не так надо!

— А как? А ты откуда знаешь?

— Э-э, откуда... Вы еще жизни не нюхали, ребята!

— А ты, поди, нюхал?

Громанюк промолчал. Но, видимо, он «нюхал» жизнь лучше нас. Об этом свидетельствовала его биография.

...В далекой Сибири, за широкой рекой Иртышем, в Томской тайге есть Яльцовские хутора.

Человека здесь встретишь редко. Место глухое. Суровые зимы. Злые морозы. Снега. Бурелом и медведи. Тайга. Гиблое место...

Сюда, в 1905 году, был сослан кузнец Луганского паровозостроительного завода Данила Громанюк.

Это был высокий, широкоплечий человек, с громадными руками, сплошь покрытыми жесткими мозолями. Казалось, что от тяжести этих рук и согнулась его могучая спина.

Вид он имел суровый, — произносил в день не больше двадцати самых необходимых слов, — и становилось понятным, почему соседи по хутору думали, что Данила Громанюк был сослан в Сибирь за разбой или убийство, и, по правде сказать, на первых порах побаивались его и сторонились.

Но Данила не обращал на соседей никакого вни-

мания. Корчуя в тайге пеньки и попыхивая своей «люлькой», только говорил:

— А, нехай их... Та ж воны не знают, який я чоловик...

Человек Данила Громанюк был хороший, простой. И сослали его не за разбой, не за убийство, а за другое. В 1905 году, когда широкая волна забастовок прокатилась по России, забастовал и завод, на котором работал Данила.

В политике Данила разбирался плохо. Но заодно с рабочими потушил горно.

На завод пригнали полицию, казаков. Данила Громанюк был взят на месте преступления: он стоял около дверей своей «кузни», когда к нему подскочил какой-то казачишка и ударил его нагайкой.

— Бунтовать, гад, надумал?

Данила только поежился. Потом вынул изо рта трубку, положил ее в карман и, по-своему, одним ударом свалил казака на землю.

— Вот тоби, бисов сын!

Казак бросился на кузнеца с шашкой, но Данила вырвал шашку, схватил казака за шиворот, приподнял его на аршин от земли и треснул об железо.

Казак остался лежать на земле, а Данила, воткнув в угол рта трубочку, пошел в кузницу. Но уйти не удалось. Данила Громанюк оказался на Яльцовских хуторах как политический ссыльный.

В Сибирь Данило приехал не один. С ним была его жена Маринка — высокая, под стать мужу, но худая, преждевременно состарившаяся женщина, которая когда-то, в девках еще, сводила с ума своей красотой парней рабочей слободки.

Вместе с женой Данила привез сына, Максима.

Первое время маленький Громанюк тосковал по Украине. Плакал. Просился домой. Но потом подрос, привык и стал любимым коноводом хуторских ребят.

Старый Данила достал своему сыну дробовик, и Максим очень скоро заделался страстным охотником: целые дни пропадал в тайге и бил из своего дробовика белок не хуже старых сибиряков.

На охоте он познакомился с Семеном Долгополовым. Семен Долгополов состоял членом партии большевиков. Был привлечен к суду, приговорен к каторге и ссылке. Очутившись на «воле», любил он побродить с ружьем по тайге. Любил, разведя жарник, попить чайку и почитать где-нибудь на таежной полянке.

Вот у такого же жарничка весной и наткнулась на Долгополова ватага мальчишек во главе с Максимом Громанюком.

Ребята долго глядели на Долгополова, перешептывались:

— Кто это, ребята?

— Это — каторжник, Долгополов...

Страшно стало ребятам, хотели убежать. Но «каторжник» увидел их и улыбнулся:

— А-а, ребятки! Идите чай пить. С сахаром...

Что делать? И трусили, и чаю хотелось...

— Айда, ребята, — сказал Максим. — Чего бояться-то? Бить, что ли, станет? Так он один, а нас много...

Подошли, поздоровались, сели. Долгополов положил на траву книжку, спросил об охоте: удачна ли — и угостил ребят чаем.

Ребята пили, рассказывали об охоте, а Максим с завистью глядел на лежащую книгу и что-то хотел спросить. Наконец не вытерпел, спросил:

— Дяденька, а не написано ли в этой книге про одну вещу?

— Про какую?

— А вот: почему ночью темно, а днем светло. И еще: куда уходит солнышко, и почему оно летом горячее, а зимой холодное.

Долгополов улыбнулся и начал рассказывать о солнце, о зиме и лете, о движении земли...

Юные сибиряки плохо понимали «каторжника», но слушали его, разиня рот. А после беседы, когда ребята возвращались домой, Максим Громанюк размахивал полученной от Долгополова книгой и восторженно говорил:

— Вот это — старик! Вот это — дедушка Семен!

Через неделю жадно прочитанная книга была аккуратно возвращена обратно. Взамен ее Максим Громанюк получил от Долгополова другую. Так познакомились. Подружились. И суровый «каторжник», как сына, полюбил бойкого, жадного до живого слова Максима Громанюка.

Перед Максимом раскрылась новая жизнь. Он узнал, за что его отец попал в Сибирь.

Почти всю ночь рассказывал нам Громанюк о себе, о жизни. Говорил интересно, смешно. Но нам было уже не до смеха. Громанюк дал совет:

— Знаете что, ребята. Будут судить, на суде много не говорите, не оправдывайтесь, а в три голоса ревите, проситесь на фронт. Да, да, проситесь — добровольцами. Иначе — Сибирь, ребята!

До Сибири дело не дошло.

Только что получен приказ о выступлении нашего полка на фронт. А поэтому наша тальянка остается без последствий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Осень. Маленький железнодорожный полустанок. Последняя остановка. Впереди — фронт. Спешно выгружаемся из вагонов. Время — около полуночи. Кругом поле. Ночь. Хлещет дождь. Холодно. Промокли чуть не до костей. Хочется спать. В голове стоит какой-то шум. Под ногами слякоть. Чавкает размокшая от дождя глина. К подошвам сапог пристало чуть ли не по пуду грязи.

— Трогай!

Прямо из вагонов полк ее величества двинули на передовые позиции.

Нас ведет прапорщик Буренов. Бодро, чуть-чуть покачиваясь, идет на правом фланге и советует нам:

— Ребята! Главное — не трусить... Струсишь — пропадешь!

Немного ободряемся. Шагаем веселее. Но итти в «ногу» трудно. Все мы, словно волы, нагружены военной поклажей. И, кроме этого, мы везем за собою свои пулеметы, патронные ящики и коробки с пулеметными лентами.

Впереди грохочет фронт. Гремят орудийные залпы. Слышно, как рвутся снаряды. Где-то тата-

кают пулеметы. Резко раздаются винтовочные выстрелы. От взрывов содрогается воздух, гудит земля.

Но странно: я не чувствую страха. Его нет. Есть какая-то щемящая сердце тоска, есть тупое равнодушие, непонятное безразличие ко всему окружающему, но страха нет. Только почему-то холодеет в животе да на спине ползают мурашки.

— Ну, скоро, что ли, придем?

Вопрос остается без ответа. Все молчат. Только Бураков позевывает и охает:

— Спать больно охота...

— А мне — курить, — отзывается Шарагин. — Ваше благородие, позвольте закурить!

— Что-о?—останавливается Буренов.—Покурить? Я тебе покурю...

Шагаем дальше. Вышли на какое-то бугристое поле, поднялись на пригорок и... остановились, словно зачарованные, смотрим. Перед нами раскрылась потрясающая картина ночного фронта.

— Эх, вот она, война-то, какая...

Влево от нас полыхает зарево. Это горит подожженное снарядами пограничное местечко Ваганец. Оно далеко, но охваченные пламенем халупы видны ясно, как на экране. Стелется дым. Пляшет пламя. Летают огневые «галки». Пылают халупы, постройки, гумна. Над Ваганцем плывут тяжелые, багрово-зловещие облака...

— Эх ты! А это что такое?

Прямо перед нами тьму ночи разрезает луч прожектора. Чей: наш или немецкий — неизвестно. Он шарит по небу, освещая низкие и быстро бегущие облака; скользит вниз, выхватывая из тьмы квадраты взрытой и исполосованной окопами земли.

Снова тьма, дождь, слякоть. То здесь, то там падают снаряды. Снаряды взрываются, и от них во все стороны летят фонтаны огнебрызг и земли. В небо взвиваются ракеты. Они лопаются в вышине с сухим треском и медленно спускаются на землю. Гаснут. Тьма. Дождь. Ночь. Взрывы.

А мы все еще идем. Идем молча, тяжело дыша и крепко стиснув зубы.

— Скоро, что ли?

— Айда, айда! Еще немного — с полверсты.

Проходим так еще версты полторы-две.

Наконец впереди что-то чернеет. Слышится команда:

— Стой! Ну вот, ребята, мы и на месте!

— А где окопы-то?

— Окопы? А вот...

Перед нами какие-то узкие и глубокие канавы, на дне которых возятся люди. Это — окопы. В окопах — солдаты. Мы смотрим на них и нерешительно топчемся на месте. Андрюшка Шарагин заглядывает в окопы и шепчет:

— А-яй! Вот могила-то...

Могила! По телу пробежала дрожь. Хочется отшатнуться от этих ям, хочется закрыть глаза, не видеть их. Но это ведь не могилы еще, это только окопы...

— Ложись!

— Снаряд! Снаряд!

На землю шлепнулось что-то тяжелое. Послышалось шипенье...

Толчок, яркая вспышка огня, звон, грохот, взрыв... В лицо пахнуло чем-то горячим. Зазвенело в ушах. Какая-то неведомая сила приподняла меня от земли и отбросила в сторону.

«Смерть?!» — мелькнуло в голове. Нет. Я — жи-

вой. Встаю. Кругом темно. В голове шум. Почему-то тошнит.

— Ребята! Ребята!

— Эй! Михайлов! Ваня, здесь мы, здесь!

Иду на голос. Слышу стон.

— Кто тут?

По земле, встав на четвереньки, словно собака с перебитым задом, ползает человек. Он кружится на одном месте и гавкает:

— А-а-ав! Га-а-ав! А-а-ав...

— Что с тобой? Чего случилось?

Оказалось, солдата контузило.

— Окся! Оксинья... Чово, чово это со мной? А, батя...

Это была первая, виденная мною, жертва войны. И странно: ни я, ни другие не обратили на бедного солдата никакого внимания.

На рассвете мимо нас проходит саперная рота.

— Прощайте, братцы!

— Счастливого возвращения!

— Как бог!.. — кричит один бородатый сапер. — Как бог велит!

Саперы ушли. Но назад не вернулись. Во время работы вся рота была уничтожена пулеметным огнем неприятеля.

Утром нас подвинули вперед на место гибели саперов, и мне случайно пришлось увидеть труп бородатого сапера, который вчера на прощанье кричал нам! «Как бог!.. Как бог велит!»

Пуля попала саперу под ложечку. Он лежал, уткнувшись лицом в землю, держась скрюченными пальцами своих рук за ворот рубахи.

Я обыскал сапера. Документов у него не было. В карманах его шинели я нашел только кисет с табаком и хлебные крошки.

— Ага, годится...

Забирая табак, я заметил на груди у убитого небольшой образок Николая-чудотворца. На оборотной стороне «святителя» было написано:

«Иди, мой дорогой,
Крепко защищай святую веру
И царя-батюшку.
Защитник тебе угодник божий—Николай».

2

Стоим в десяти верстах от границы. Не сегодня-завтра нас бросят в бой. Это не тревожит нас. Ну что же, в бой, так в бой. А пока что нам не до боя.

Вчера мы разбили винный склад.

Мы столько запасли водки, что все наши вещевые мешки, патронташи, ранцы и карманы были набиты бутылками, полубутылками и шкаликами с водкой.

Андрюшка Шарагин играет на своей гармошке «Барыню». Бураков с Ахметом пляшут. Егор взмахивает руками, кричит: «Эх! Эх!» и припевает:

Барыня ты моя.
Сударыня ты моя.

В разгар веселья к нам приехало начальство. Тоже пьяные. Здороваются.

— Приятного веселья, молодцы!

Мы чего-то орем в ответ, пытаемся встать в строй, но ничего у нас не выходит.

Какой-то офицер держит перед нами речь. Он туманно объясняет нам, чтобы мы были к чему-то готовы, что нас что-то ждет и мы должны кому-то и что-то показать.

— Пойдем, ребята! С музыкой! А впереди пойдет наш батюшка — отец Макарий, вот!

Отец Макарий, в шинели поверх рясы и в серой солдатской шапчонке, стоит тут же и заплетающимся с похмелья языком говорит:

— Пойдем, братцы! Как с крестным ходом пойдем на врага. Я пойду впереди вас и святым распятием христовым покажу вам путь к победе. Смерти не бойтесь. Ибо умрет только тело, а душа ваша спасена будет. Незримо она поднимется на небеса, в обитель райскую, где уготовано для нее святое место.

С пьяных глаз мы задираем головы кверху и смотрим на небо, словно туда и на самом деле «по незримой лестнице» поднимаются в «обитель райскую» наши «грешные» души.

8

Фронт окутался густыми клубами порохового дыма. Над окопами огневая метель. Свистят, воют снаряды, цокают пули, грохочут взрывы, взлетает в воздух земля.

А мы сидим пьяные.

— Да что это такое? Чего начальство смотрит? А! Или немцу продались? Аль измена тут?

Мы пьяны, но наше возмущение справедливо: идет бой, а около нас ни начальства, ни командиров. Пообещав вчера вести нас в наступление с музыкой, сегодня командиры даже глаз своих не показали.

Андрюшка Шарагин сжимает кулаки и хрипит:

— Эх, вот сейчас бы под пьяную руку на него ударить!

— Яво бы, германца-то, маклашка хороший давать надоть,— грозится лежащий на земле Ахмет.— Давать бы яво маклашка здоровый, он бы не стал война-то делать.

Ахмет хочет подняться, пробует встать. Но водка оказывается сильнее Ахмета: она валит его, он карячится и ругает водку.

В это время в стороне послышалась команда:

— Цепь вперед!

Мы с винтовками наперевес выскакиваем из окопов.

— Ура!

— Ура! — подхватываем мы и бежим вперед.

Добежали до железной дороги, взобрались на насыпь. Выстрелы, залпы, огонь, пулеметная трескотня, взрывы гранат, свист пуль...

— Ложись! Ложись!

Рассыпались в цепь, залегли. Немцы открыли по нас пулеметный огонь. Рванулся воздух — точно ветер подул. Мы даже не поняли, что над нами пролетела смерть: оцепенели.

— Вперед! В атаку — марш-марш!

— А-а-а! Ур-ра-а-а!

И пьяные мы бросились в рукопашный бой.

...Вокруг меня бежали солдаты. Бежали с перекошенными от злобы лицами, пьяные; бежали с широко раскрытыми ртами и так кричали «ура», что этот крик заглушал и выстрелы, и залпы, и взрывы. От крика звенело в ушах, и вот-вот, казалось, лопнут перепонки, треснет голова.

Впереди — все ближе и ближе — немецкие окопы, укрепления и проволочные заграждения. Около них бой. Я вижу, как наши солдаты колют кого-то штыками, бьют прикладами, забрасывают не-

мецкие окопы гранатами, рвут, режут заграждения. «Ура! Ур-ра-аа!»

Взбегаем на бруствер. Край окопа. Хочу спрыгнуть вниз—и сердце останавливается на мгновение, по телу пробегает холодок, на лбу сразу выступает пот, тяжелеют ноги.

— Го-о-оп! — кричу я и спрыгиваю в окоп.

Быстро оглядываюсь. Ага! В окопе — немецкий солдат. Уткнувшись лицом в землю, он выставил вверх дуло своей винтовки и, не глядя, стреляет. Патронов у немца нет. Но он щелкает затвором винтовки, механически нажимает курок и «стреляет», очевидно, думая про себя: «Меня не видно, а я стреляю в упор».

Лица немца я не вижу. Старый он или молодой — все равно, безразлично. Перевертываю винтовку и бью прикладом по каске. Каска — плохая защита от приклада. Немец без звука валится на землю. Из расколотого черепа выползает густой мозг.

Вправо от меня — немецкое пулеметное гнездо. У пулемета трое. Я прикладываюсь, почти без прицела стреляю. У пулемета только двое. Один убит. Живые заметили меня. Но поздно: один приколот штыком, другого бью прикладом. Раздался какой-то глухой, противный хряск. На голове немца образовалась яма, которая постепенно залилась черной кровью. Немец медленно валится на бок и лежит, только пальцы его рук судорожно сжимаются да слегка подергивается левая нога.

Пулемет в моих руках. Быстро записываю номер, вытаскиваю пулемет на бруствер окопа и строчу. С фронта полетели депеши:

«Спешно. Срочно. 2-й Сибирский ее величества стрелковый полк перешел границу».

4

Прорвались в Германию. И что же? Земля такая же, как и наша. Такие же поля. Такое же небо, такие же и деревья и трава.

Прорывая фронт, начальство нашего полка не сообразило, что мы можем оторваться от своих.

Немцы, узнав, что фронт прорвал только один полк, двинули против нас пехотные части, артиллерию и кавалерийские эскадроны.

Мы были заперты в кольцо.

Трое суток бросались из стороны в сторону, пытаясь прорвать кольцо врага, пробиться назад, к своим.

Напрасно! Куда ни кинемся — немцы. Выхода не было.

Что делать?

В отчаянии пошли на штурмовой прорыв.

Двенадцать раз полк ходил в наступление; двенадцать раз бросались мы в штыковые атаки. Грудью хотели пробиться к границе. И ничего не вышло. Выдохлись, обессилели, измучились...

И не думали и не гадали, что вернемся на родину...

И вдруг где-то далеко-далеко послышалось:

— Ура! Сибирь идет!

В какие-нибудь секунды мы построились в трехугольную колонну и бросились вперед.

— Ур-ра-а-а!

Выручили нас, как мы узнали, только что прибывшие на фронт свежие сибирские войска.

...Подходим к нашим старым окопам. Здесь чернеет густая толпа солдат. Это — встречающие. Подходим ближе. По фронту длинными шпалерами стоят войска. Впереди — штаб полка, командиры,

армейское духовенство. На флангах — военный оркестр музыки играет марш «Под двуглавым орлом».

Шумно. Торжественно.

Нас приветствует корпусной командир — генерал Скрементов.

— Орлы! Поздравляю с победой!

— Ура! — раздается кругом. — Ура!

А мы, измученные, грязные, в рваных шинелях, в худых сапогах, вместо строя валим кучей, ведем один другого под руки, тянем за рукава. Нам не до «ура». Мы голодны, хотим спать. Но нас гонят и гонят, точно сквозь строй, мимо начальства, мимо попов, солдат и генералов.

Полк наградили почетным штандартом — белым шелковым знаменем с изображением «нерукотворного» спаса и с надписью «С нами бог», а нас представили к серебряным «Егорьевским» крестам 4-й степени, выдали по шесть рублей наградных денег, новое обмундирование — и мы стали «Егорьевскими кавалерами».

5

«Я — Егорьевский кавалер!»

Эти слова поднимали Андрюшку Шарагина точно на крыльях. И Андрюшка ходить-то стал как-то боком, чтобы «Егорья» виднее было, и даже разговор переменил:

— Ха! Екары — мары... Да я теперь не больно что, а Егорьевский кавалер. В-во! — и обязательно тыкал себя пальцем в грудь, где болтался серебряный крестик.

Однажды, в шутку, Громанюк спросил Шарагина:

— Андрей, у тебя хвост не растет?

Шарагин не понял, удивился:

— Как, какой хвост?

— Обыкновенный. Я все жду, когда у тебя хвост вырастет. Зачем? Да как же: ходишь ты у нас — павлином. Только хвоста нет. А надо бы. Распустил бы ты его и шатался по окопам, приговаривая: «Вот смотрите, какой я герой! С хвостом...»

Шарагин обиделся:

— А что, неправда, что ли?

— Чего?

— Того-с!

Громанюк нахмурился и сразу стал серьезным.

— Дура с Волги! Право, дура. Ты не сердись, Андрей. Посмотришь на тебя, человек ты хороший, умный. А нацепили тебе какую-то побрякушку, ты и грудь колесом, шею дугой и брюхо ящиком. Эх, Андрей, Андрей...

Андрюшке стало стыдно, и он виновато засмеялся.

6

Зима. Бураны. Стоим на берегах реки Бзура. В окопах. Жгем жарник. Греемся. А холодище — волчий! Стены окопов запушены инеем. Из наших ртов, словно из паровозов, валит пар и мелкими холодными пушинками оседает на бороды, усы и брови, делая нас какими-то седыми и сказочными стариками.

На фронте тихо. В окопах холодно. Мы продрогли до основания костей. И погреться негде. Уходим в блиндаж. Здесь как в погребе, только ветра нет. Ничего: садимся, подпирая спинами стены, и закуриваем. Хоть дымом погреться.

Ахмет у нас не курит. Он осматривает шинель, вздыхает и сокрушенно качает головой:

— Замерзать будем...

— Зачем?

— Э-э-э, зачем! Гляди: была шинель, стала не шинель.

Шинель у Ахмета действительно стала не шинель: она превратилась в сплошные дыры и лохмотья. Ахмет ощупывает эти лохмотья, продевает в дыры руки и тяжело вздыхает:

— Э-эх! Замерзать, ребята, будем...

Егор жалеет своего друга и советует ему:

— Ты бы починил ее, Ахмет, немножко.

— Ух, Ягор, Ягор! Чего его чинить-та? Один дырка зашиваешь, рядом — новая дыра ползет...

— Гнилье. Купец какой-нибудь сукно-то подсунул. И рад, сукин сын, копейку на солдатском горе заработать.

— Н-да, — говорит Шарагин,— обутка, вот тоже...

Андрюшка шевелит вылезающей из сапога, как из щучьей пасти, портянкой.

— Вот, видал-миндал?

Наш разговор прерывает Громанюк. Он вошел в блиндаж, весь обледенелый и запушенный снегом, обтер с лица ледяные сосульки и, развязывая башлык, прохрипел:

— Беда, ребяты! Брикман замерз...

— Брикман? Да что ты!

— Да. Сегодня ночью. На часах стояли. А он в голых сапогах, в шинелишке был.

— Ну?

— Ну и замерз. Бегал, бегал, сел в сугроб — и готов.

Выходим на волю. Морозно. Под ногами грязный, затоптанный сотнями солдатских сапог снег.

Окопы. А там, за окопами, раскинулась бесконечная ширь завьюженного фронта, лежат сугробы. И в этих сугробах замерз солдат нашей роты, наш Брикман.

Брикман. Маленький, тщедушный и слабосильный Изик... Ему тяжелее всех доставалась фронтовая жизнь. За короткое время пребывания в окопах он схватил ревматизм, поэтому он не мог делать больших переходов: у него отнимались ноги. Также не мог таскать наш Изик полную строевую выкладку (сорок два фунта). А после нескольких месяцев войны Брикман совершенно выбился из сил и часто, придя на привал, даже есть не мог, а прямо ложился куда-нибудь и засыпал.

Мы стоим над маленьким холмиком затоптанного, перемешанного с мерзлой землей снега. Это — могила Брикмана. Стоим над прахом своего товарища и вспоминаем весь путь от далекого теперь Симбирска, дремлющего над Волгой, до этого холмика. Весь этот путь вместе с нами прошел маленький Израиль Брикман.

Мы как-то не замечали Брикмана. И теперь нам становится стыдно.

Изик. Наш тихий и добрый товарищ... Ты никого не обидел, ты никому не сделал зла... Ты даже матерно ругаться не умел! За что же ты погиб, Израиль?

Окружаем могилу, молча снимаем шапки. Шарагин облизывает губы и тихо говорит:

— Вот и Брикмана больше нет.

— Да! — поднял Громанюк голову. — Одного не стало. За кем теперь очередь, а?

Бураков осторожно кладет на могилу пихтовый венок и тихо крестится:

— Прощай, Изютка... Спи спокойно, друг...

Мы теребим в руках свои шапки и качаем головами:

— Прощай, дорогой товарищ...

— Вечная тебе память. Прощай...

И все. Уходим. Брикман остался лежать в сугробах.

7

У нас опять несчастье: три дня тому назад пропал Егор Бураков...

И пропал как-то странно. Ночью мы ходили отбивать немецкие обозы. Собралась ватага отчаянных ребят, пробрались в тыл неприятеля, забрали две подводы с продовольствием и двуколку с патронами.

Егор в этом налете был с нами и еще хвалился:

— Афтонобель бы у них забрать...

Но «афтонобель» забрать не пришлось.

Пришли в свои окопы. Впопыхах не заметили Егора. Думали, что он отстал, зашел куда-нибудь. Но проходит день, второй, Егора нет.

Приуныли. Жалко Егора. Так жалко, сказать нельзя — как.

— Да, пропал Ягор, — вздыхает Ахмет и жалобно просит нас: — ребята, айда в штаб сходим.

Мы знаем — итти в штаб бесполезно, но все-таки идем. Каково же было наше удивление, когда навстречу нам, нагруженный тремя винтовками, шел... Егор Бураков!

— Ягор! Ягор пришел! Откуда? Где был?

Егор подходит ближе. Вытирая пот, качает головой:

— Ой, ребята... Где я был-то...

— Да что случилось-то?

— Чего? Заплутался я. Да тама... Вы это убежали тогда, а я остался. А тут — ночь. Темно стало. А тут еще в сапог чего-то попало. Сел я в ямочке, переобулся. А когда встал, вас уже нет. А тут еще ночь. И темно. Итти не знаю куда. А итти надо. Пошел я, да совсем заплутался, пра. Гляжу — дороги даже нет, потом гляжу — окопы! Поглядел, поглядел — признал: не наши окопы. Бегу, а тут... человек лежит. А рядом еще двое. Стой, мол, Егор, не туда зашел... В бок было подался. А там слышу — разговор. Немцы калякают... Да. Храбрый, храбрый я — а испугался. И эти — трое — тут спят. «Ну, — думаю, — пропал!» Итти хочу — ноги не шагают. Тут стоять — немцы...

— Ну, и как же ты?

Егор храбрится и важно подмигивает:

— Как! Я ведь тоже не дурак! Ко мне тоже на драной козе не подъезжай. Подошел я к ним да потихоньку, полегоньку и забрал у них все оружие.

— А они?

— Спят.

— А ты?

— Я забрал у них оружия и думаю, чего делать: если разбудить их да в плен взять... Не осилю. Уйти, думаю, с ружьями-то? А ну они проснутся... Беда! Стою и думаю. А тут один из них завозился, забормотал...

— А ты?

— А меня, ребята, ровно бес какой подмывает. Бац его! Бац другого, третьего...

— Ну-у?

— Ей-богу!

8

Прошла, кажется, неделя. В окопы пришла почта. Нам писем не было. Но Андрюшка Шарагин получил — за два «огляда» газету.

— С куревом теперь, ребята!

Но прежде чем пустить газету на раскурку, Андрюшка вздумал прочитать «Вести с фронта».

Сначала Андрюшка бегал по газете глазами, потом чего-то нашел и закричал:

— Ребята! Смотрите, на, чего пишут!

— Чего, чего?

— Подвиг Егора Буракова!

— Да что ты?

— Ну-ка, читай!

Через неделю его представили к награде.

...Егора сделали «Егорьевским кавалером». Ахмет, еще не имевший ни одного «Егория», завидовал своему другу. Но самого Егора не радовало званье «кавалера». Долгое время он ходил напуганным и растерянным и все прикрывал своего «Егория» рукой или бортом шинели.

Потом Егор сообщил мне свой «секрет».

— Иван, а что, если он придет?

— Кто?

— Да тот, про кого в газете писали. Заберет, поди, «Егория»! А если не придет, «Егорий» мне достанется. Насовсем. Баба способие за него получит. А пра! Что ты! Шесть целковых и земли прирежут. Десятину на крест!

Так и не понял Бураков — за что его наградили серебряным крестом.

9

В окопах большое событие. На фронт приехал преосвященный Пантелеймон — епископ Двинской епархии и привез с собой «чудотворную икону двинской богоматери», поднятую из кафедрального собора города Двинска для освящения русских окопов, благословения солдат и поднятия в армии боевого духа и веры в победу.

В честь приезда преосвященного был устроен крестный ход. Целая рота солдат таскала по позиции многопудовую, в большом и тяжелом киоте «двинскую богоматерь». Пели хоры. Играла музыка. Впереди шагал преосвященный Пантелеймон, крепкий, здоровый и красивый старик лет за шестьдесят, с густой черно-бархатной бородой, с кудрявыми полуседыми волосами, в «золотой» ризе и с распятием в руках.

Он служил молебны, кадил ладаном, кропил солдат «святой» водой и раздавал на один взвод по одной молитве.

Молитва была отпечатана на плотной глянцевой бумаге, с ангелами по углам, с виньетками и цветами, с изображением «двинской богоматери» в облаках и с золотым заглавием: «Молитва воина, идущего в бой».

Не было на фронте снарядов; нехватало продовольствия, патронов, одежды; мерзли в снегах, мокли под дождем, голодали солдаты — армию снабжали молитвами.

Молитвы!

Сколько на фронте было молитв! И какие были молитвы!

На каждый день и час, для каждого солдат-

ского шага была приготовлена специальная молитва или тропарь какому-нибудь святому.

В те годы в деревнях и городах России коробейники продавали открытки.

...Поле сражения. Ночь. Около леса расположен русский лагерь. Стоят в пирамидах винтовки. Из окопов выглядывают жерла орудий. Чуть-чуть колышутся воткнутые в землю трехцветные знамена. Белеют палатки. На земле лежит барабан. На барабане — две сабли и солдатская фуражка. Рядом с барабаном, подложив под голову ранец, спит барабанщик.

Над полем сражения покой, тишина. Чувствуется, что только недавно окончен бой. Враг разбит. После победы солдаты отдыхают. В лагере тишина, покой, над лагерем небо. А на небе — буря, клубятся облака, сверкает молния, собирается гроза.

И видно: склоняются с неба знамена. Скачет конница, движется пехота, летят ангелы. А среди облаков шествует богородица! Идет она в сиянии небесного света, идет и благословляет спящий солдатский лагерь крестным знамением.

Внизу открытки — подпись:

«Видение русскому воинству Ченстоховской богоматери».

Художник изобразил это «видение», как сон солдата. А я видел этот сон в действительности, наяву.

Потрясающая была картина!

...Ночь. Шумит лес. Накрапывает дождь. С запада надвигается гроза. Глухо грохочет гром. Блещут зигзаги молний. Небо черное, по нему плывут и клубятся зловеще тяжелые тучи.

Жутко в такую ночь на фронте. Чувствуешь

себя каким-то одиноким, беспомощным... Хочется куда-нибудь спрятаться, прижаться к кому-то большому и сильному, который бы мог заступиться, защитить, не дать в обиду.

Эта жуть усиливается еще тем, что на фронте стоит немая тишина. Она давит. Кажется, что мы находимся в глубокой черной пропасти, где нет ни воздуха, ни света, где царит вечная тьма и уныние.

На опушке леса горит костер. Вокруг огня сидит наша «компания». Ужинаем, пьем чай. Настроение у всех прескверное. Только вчера пришло извещение о сдаче немцам города Ченстохова. Говорили, что там был страшный бой, что мы потеряли более двух дивизий убитыми и ранеными, не считая пропавших без вести.

В разговорах, мы не заметили приближения грозы. Она разразилась нечаянно. Внезапно вспыхнувшая молния ослепила нас, заставила вздрогнуть. Вслед за молнией раздался такой страшный удар грома, что мы вскочили с земли, сгрудились в кучу и торопливо закрестились:

— Господи, помилуй...

И вдруг не то с неба на землю, не то с земли на небо по воздуху протянулась широкая полоса света.

— Ребята, чего это такое?

На небе буря, клубятся тучи, гремит гром, дождь, молния. И видно — туманно, туманно, по облакам, словно живая, идет богородица! Идет она в сиянии света, с распростертыми руками. Идет и благословляет наш лагерь, окопы, фронт.

Ударил дождь. Зашумел ветер. Богородица за-

дрожала и постепенно начала удаляться на запад, спустилась там на землю и пропала.

— Ловко! — говорит Громанюк.— Ловко сделано! А знаешь, что это? Световым фонарем показывали...

Так проходит ночь. А утром по всему фронту началась «коллективная» служба благодарственных молебнов. Вся «богова дивизия» была мобилизована на работу. Попы говорили о ночном «чуде» проповеди, предсказывали, что сама «владычица» призывает и благословляет нас для победы над врагом.

Пользуясь этим, наше командование двинуло армию в наступление. По всему фронту завязались кровопролитные бои.

Особенно страшный бой был под Ченстоховом, где в плену у немцев находилась «ченстоховская богоматерь». Отбить, взять Ченстохов обратно не удалось. Богородица осталась в плену. И во имя ее «освобождения», во имя «чуда на полях сражений» легли тысячи русских солдат.

10

Ясным морозным утром наша рота переходит Вислу. Следом за нами идет весь полк. А кругом — и справа и слева, верст на шестьдесят вниз и вверх по течению Вислы идут новые роты, полки, батальоны, дивизии, корпуса, артиллерия, пехота, пулеметчики, саперы...

Идем в бой. Висла подо льдом. Ее широкие просторы скованы морозами. Кругом — сугробы. Снег такой чистый и свежий, что его даже жалко топтать.

Под Сочевкой гремят орудия. Дрожит под ногами лед. Шумит в полыньях вода. Страшно.

Изредка на Вислу долетают немецкие снаряды. Они раскалывают лед, поднимая вокруг фонтаны воды. Итти трудно. То тут, то там зияют проруби, полыньи и разводья. Мы осторожно обходим их, но путь нам преграждает глыба льда. Из глыбы торчат человечьи ноги. Левая нога оторвана по колено, и из обрубка видна белая, точно мраморная кость. Правая нога — в дырявом сапоге, и из-под отставшей подметки с ощеренными, как щучья пасть, гвоздями виднеются грязные пальцы.

Самый труп, словно в стеклянном шкафу, лежит в середине глыбы. Он весь изуродован: голова разбита, язык прикушен, из половины рта торчат зубы, тускло смотрят сквозь льдину мертвые глаза...

Подходим к Сочевке. Она неузнаваема. Ни домов, ни построек. Даже целого деревца нет. Все разбито снарядами, исковеркано, сожрано огнем. Сочевка по нескольку раз переходила из рук в руки наших и немецких войск. В результате — развалины. Деревушка сравнялась с землей. Тихо. Пустынно. Только кое-где под снегом шипят головешки пожарища да валяются трупы.

От Сочевки пошли дальше. Дошли до 86-й высоты. Здесь остановились. С Вислы подошли свежие войска. Началась перегруппировка сил: пехоту двинули вперед, артиллерия осталась под Сочевкой, а нас, пулеметчиков, бросили на знаменитую «Пулеметную горку».

«Пулеметная горка» — высокая крутая гора — господствовала над всем фронтом, была вооружена до отказа и представляла из себя неприступное укрепление, твердыню, о которую могли разбиться любые силы врага.

11

На рассвете у «Пулеметной горки» завязался бой. Немцы часов семь подряд громили наши позиции из тяжелых орудий. Наши войска сопротивлялись. Артиллеристы отвечали на каждый немецкий выстрел. Снаряды летели сотнями, тысячами.

Но к полудню наша артиллерия постепенно начала прекращать огонь и, наконец, наши батареи замолкли. В ход была пущена пехота.

Двинулась серошинельная. Утопая в сугробах, проваливаясь в ямы и воронки, с криками «ура», пехота пошла в атаку.

Немцы встретили ее пулеметным огнем и шрапнелью. Ответили на атаку контрнаступлением. Авангардные части войск сошлись врукопашную.

Отбросив и разбив 48-й пехотный полк, немцы продолжали итти в наступление. Не подозревая о нашей «горке», они подошли к ее подошве.

— Огонь!

— Есть огонь!

Дрогнула «Пулеметная горка» и четыреста пулеметов загрохотали своей смертоносной дробью. В какие-нибудь минуты мы обрушили на врага страшную свинцово-огненную метель, и от раскаленных пулеметов, от горячих патронных гильз снега растаяли на «Пулеметной горке» и мутными ручьями потекли по склонам.

Часа два-три без отдыха, без перерыва ревели наши пулеметы, и в вихрях снега, в пороховом дыму и в визге пуль мы не слышали, не видели, а только чувствовали, что у подошвы нашей «горки» творится что-то страшное.

Немецкие войска не выдержали, отступили. Но их командование, оценив положение нашей «горки», в какие-нибудь полчаса произвело перегруппировку сил и бросило на штурм «Пулеметной горки» всю свою технику и лучшие войска.

Напрасно! Наша «горка» была неприступна.

Немцы поняли это и любой ценой хотели отбить нашу твердыню. Но мы, окрыленные успехом и верой в победу, не допускали врага даже на выстрел.

Бой кипел двое суток. Двое суток штурмовали немцы «Пулеметную горку», и каждый раз мы разбивали и отбрасывали их с огромными потерями обратно.

12

На рассвете третьей штурмовой ночи на горизонте показалось звено неприятельских самолетов. Они разлетелись врассыпную, скользнули на крылья, спустились ниже, распластались над «Пулеметной горкой» и начали ее бомбить.

Мы встретили самолеты перекрестным огнем своих пулеметов. Подбили два аппарата. Остальные продолжали кружить над «горкой» и сбрасывали бомбы.

Еще самолет сбили. Осталось три. И их бы «поймали» наши пулеметчики, но в это время из штаба дивизии за подписью генерала Краузе, руководившего боем, пришел приказ:

— Снять позиции. Пулеметные части перебросить на Вислу.

Немцы продолжали наступать. Мы снова встретили их огнем пулеметов и опять бы отбили и отбросили их обратно, но в этот момент, в самый

разгар боя по пулеметным гнездам пробежал тревожный слух:

— Немцы в тылу!

Немцы воспользовались нашей заминкой, возобновили наступление и шли теперь на штурм «Пулеметной горки», поддерживаемые самолетами и двигая впереди себя подвижные укрепления — стальные щиты на полозьях, за которыми прятались стрелки.

Видя это, наш Буренов, без назначения, без приказа, взял на себя командование «Пулеметной горкой» и, пренебрегая опасностью быть убитым, не обращая внимания на снаряды и пули, бегал от пулемета к пулемету — ободрял:

— Держись! Ребята, держись! Отступление — смерть!

Но было поздно. Правый фланг нашей «горки» был уже занят немцами. Отбив часть наших пулеметов, они повернули их против нас и открыли огонь.

Минут через сорок «Пулеметная горка» была сдана. И мы уже не отступали, а просто бежали — без отдыха, без оглядки.

Бежали, а вслед нам гремели пулеметы.

Пулеметы, наши же пулеметы били нас! А артиллерия врага громила Вислу. Не по окопам, не по нашим укреплениям и войскам била немецкая артиллерия, а по Висле.

Они знали, что делали. Они отрезали нам путь отступления.

«Пулеметная горка» была сдана. И тут, поняв, что сражение проиграно, наше командование отдало новое распоряжение:

— Отбить у врага «Пулеметную горку»!

Это было безумие!

Кроме наших пулеметов, немцы подняли на «горку» легкую артиллерию и громили нашу армию из орудий и пулеметов. Огонь был страшный, уничтожающий...

Сотни, тысячи людей, с одними штыками наперевес бросались на штурм и, не дойдя даже до половины «горки», падали, срезанные пулями, разорванные снарядами.

Наконец на штурм «горки» бросили 12-ю пехотную дивизию.

— Ура! — взревела дивизия.— Ура-а-а! — и вся эта многотысячная толпа приговоренных к смерти людей пошла в рукопашную атаку.

— Ура! — снова прокатилось по дивизии.— Ура-а-а!

Прокатилось и стихло. И вдруг в этой секундной тишине кто-то засмеялся.

Все на мгновение смолкли, точно прислушиваясь к этому смеху. Но вот к смеющемуся присоединился еще один голос. Потом еще и еще... Волна хохота росла и росла, ширилась, разливалась, перекатывалась по рядам пехоты.

— Ха-ха-ха! Хо-х-ох-о! Ха-ха-хо-о-о...

И вся эта масса сумасшедших, наполовину безоружных людей с диким визгом, с хохотом, с воем побежала вперед, навстречу свинцовому вихрю, на приступ «Пулеметной горки».

И что же вы думаете? Отбили! «Пулеметная горка» была занята. Но она уже была не нужна нам. Когда солдаты 12-й дивизии взошли на ее вершину и перекололи оставшихся в живых немецких солдат, то у нас уже не было ни фронта, ни войск... Были только мертвые и жалкие остатки рот, полков, дивизий, которые спасались бегством.

И «Пулеметная горка» опять была отдана немцам.

Наша «компания» вышла из боя живой. При первом отступлении с «Пулеметной горки» мы в общем хаосе потеряли свою роту.

Случайно в дороге встретили Буренова.

— Живой?

— А вы?

— Живые! Все живые!

— У-с, чорт! Судьба, ребята...

Кинулись к Висле. Перейти ее нельзя: льды взорваны снарядами. На льду — полыньи. Их становится все больше и больше. И вот случилось неслыханное дело: зимой, в декабре, на Висле тронулись льды...

Вот недалеко от берега отстала большая льдина. Медленно поворачиваясь, она поплыла вниз по течению.

На самом краю льдины лежит убитый солдат с вывалившимися наружу кишками. Льдина плывет. По пути она сталкивается с другой и со страшным грохотом лезет на нее, встала на «дыбы». Труп солдата, только что бывший наполовину в воде, оказывается на гребне льдины, и его кишки, точно белье на веревке, раскачиваются по воздуху.

На другой льдине — раненый. Он пытается отползти от края льдины. Не может. Кричит только, страшно кричит:

— М-ма-ма! М-мамынька!

Льдина подходит к берегу, где лед остался еще неподвижным. Миг — треск, нечеловеческий вой, хряст льда и костей... И все. Только вода окрасилась кровью, да в стороны разошлись мелкие волны да круги.

Верст восемь пробежали вниз по течению реки. Наконец видим — твердый лед. Обрадовались, бежим к нему...

— Назад!

— У-с, чорт! Назад, ребята!

На берегу Вислы, недалеко от нас, немцы устанавливают пулеметы.

Повернули. Из леса навстречу нам выехала немецкая кавалерия.

— Гох! Гох! Го-о-ох!

Мы сбрасываем с себя шинели, кидаем шапки, винтовки и с размаха кидаемся в Вислу.

Проходим сажень, вторую, третью... Не тонем. Что такое? Ага! Под ногами какие-то бревна. Они под тяжестью наших тел погружаются в воду, вновь всплывают. Итти трудно. Ноги проваливаются. Мы чуть ли не по горло погружаемся в ледяную воду, карабкаемся, иногда плывем.

— Ребята! Ребята, глядите-ка — по мертвякам идем...

Верно; под ногами целая запруда из мертвых солдат. Много их. Они приплыли сюда и образовали у кромки неразбитого льда настоящий затор.

Трупы! Ничего, бежим по трупам. Бежим, а вокруг нас рвутся снаряды, с жутким скрежетом лезут одна на другую льдины, кричат тонущие солдаты...

Солдаты! Сколько их...

Солдаты переплывали реку раздетые, разутые.

Вот на огромной льдине плывет целый взвод пехотинцев.

Льдина несется бешено. Ныряет, кружится... Вот она сталкивается на полном ходу с другой льдиной. Столкнулись. Толчок, грохот. Солдаты про-

буют оттолкнуться, пускают в ход саперные лопатки, винтовки... Льдина замедляет свой бег. На миг остановилась, ухнула и перевернулась, накрыв собой всю группу солдат. Солдаты вынырнули, пробуют уцепиться за льдину, хотят снова взобраться на нее, но окоченевшие руки не держат тел, и солдаты один за другим идут на дно.

Прямо на нас несется небольшая льдинка. Взрыв. Снаряд разбивает льдину на куски и разбрасывает их вместе с солдатами в сторону.

Вокруг бушуют льды, рвутся снаряды. По бурлящей реке плывут убитые, трупы лошадей, повозки, шапки, сани... А мы идем. Идем все вперед и вперед. Вот уже доходим до середины Вислы.

Перескакиваем с трупа на труп, с льдины на льдину. Впереди нас — Буренов. За ним — Шарагин. Я мельком гляжу на Буренова. Волосы у него замерзли, давно небритые усы висят как две сосульки, на мундире лед.

И все мы похожи на Буренова. Гимнастерки покрыты коркой льда, штаны — словно рыцарские серебряные панцыри.

Но нам не холодно. Наоборот — жарко, пар идет от нас, не чувствуем ни боли, ни мороза.

— Вз-з-з-з!

Впереди упал снаряд. В воду. Шарахаемся в сторону. Куда? Слева льды, справа вода, а прямо — беда. На минуту остановились.

Взрыв.

Закачались под ногами трупы, взлетели в воздух льдины, мертвецы, вода — и, не успели мы глазом моргнуть, наш Буренов провалился в воду.

— Чорт! У-с, чорт! То-о-ну-у-у...

Первым рванулся Громанюк. За ним Шарагин.

Проваливаясь под лед и увязая в трупах, они схватили Буренова за шиворот и заорали:

— Держи, ребята! Руку! Скорее руку...

Мы подбежали на помощь. Оглядываемся, видим в глыбах льда какую-то лазейку. Бежим к ней и — о, радость! — под ногами твердый лед.

— Ура! Спасены!

Буренов открыл глаза. Видим — замерз, зубами лязгает, но улыбается:

— Ребята!

Буренов хочет сказать еще чего-то, но Шарагин орет на него:

— Ладно ты, молчи! Замерзнешь, чорт...

— Замерзнем...

— Э! Ни хрена! Айда, бегом! Бего-о-ом!

Побежали, но силы окончательно оставили нас. Замерзшие сапоги и штаны не сгибаются. Ноги даже от земли не отдерешь, точно на них повешены пудовые гири.

Но мы бежим. Все тише и тише. Спотыкаемся, падаем. А берег близко. Вот-вот, еще несколько десятков шагов и... Но тут Буренов не выдерживает. Остановился, упал.

— Силы нет! Бегите... Бегите, ребята... Все равно. Пусть. Судьба, видно. Прощайте...

— Бери его! — кричит Шарагин.— Бери, ребята!

Быстро подхватываем Буренова на руки, бежим дальше. Выбежали на берег, положили Буренова и кучей, как поленья, валимся на снег и лежим так, не в силах даже пошевелить пальцем.

Отдышавшись немного, я захотел пить. Ползком добрался к Висле, нагнулся к полынье и зачерпнул пригоршню воды. Но пить не стал. В моих ладонях была не вода — кровь, наша простая солдатская кровь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Вчера был бой. Сегодня мы отдыхаем. Сидим в блиндаже. Ночь. Над окопами бушевала метель — свинцовая и снеговая, а у нас было тихо, спокойно, даже уютно: на полу солома, на стене коптилка, сделанная из банки из-под ружейного масла.

Я лежу на ворохе мятой ржаной соломы. Ярко пылают сосновые дрова в маленькой железной печке. Рядом со мной — Ахмет. В углу спит Максим Громанюк. Шарагин куда-то ушел. Остальные ребята играют с солдатами соседних блиндажей в щелчки.

Затягиваясь табачным дымом, я прислушиваюсь к разговорам, смотрю на играющих.

Напротив меня — Латыш, самый азартный игрок. Он покраснел, разгорелся, сидит весь в напряжении, даже жилы на лбу набухли веревками.

Разговор у играющих редкий, отрывистый:

— Очко!

— Лоб!

— Давай, давай!

Латыш выигрывает, бьет щелчки. Все хохочут и добродушно, без злобы, матерятся и напевают:

Под ракитою зеленой
Солдат раненый лежит...

Напротив Латыша, спиной ко мне, сидит Бураков. Ему сегодня не везет: почти каждый кон ему бьют лоб, и Егор от досады и напряжения играет с таким страдальческим выражением лица, что кажется, будто он берет карты не по собственной охоте, а по приговору военно-полевого суда.

В блиндаже полутемно. Коптилка скупо освещает стены, потолок, на которых кривляются громадные тени голов, топырятся руки, качаются туловища играющих... Слышно тихое пение.

На груди, штыком пронзенной,
Крест серебряный блестит.

В блиндаже тихо. Только скупо шлепаются карты да изредка — словно в пустую бочку — падают слова:

— Есть!

— Очко!

— Лоб, солдат!

Колода карт перешла к Буракову. Егор взял ее в руки, помусолил пальцы и торжественно заявил:

— Банкую!

— Крой, Егор Егорьевский!

Сдал. Когда очередь дошла до Латыша, он посмотрел из-под руки на свою карту и облизнулся:

— Сколько?

— Пол-ста.

— Давай на все!

Бураков дал карту. Латыш ловко подкинул ее кверху, подставил на лету вторую, сложил их тыловой стороной вместе и раскрыл.

— Очко?

— Без кисточки...

— Ну, бей, чортушка.

Закрыв глаза и заранее сморщившись, как сушоный гриб, Бураков подставил лоб. Латыш послюнил ноготь среднего пальца, нацелился и, жуя в такт ударов губами, начал бить.

Бил больно, точно молотками. На третьем десятке ударов Бураков не выдержал и взмолился:

— Чорт! Бей чаще...

Латыш только улыбнулся и продолжал бить. А остальные с восхищением детей смотрели на эту расправу и вставляли свои замечания.

Ударив пятьдесят раз, Латыш облегченно вздохнул:

— Еще надо?

— Ну тя к чорту! — отдулся Бураков.— И так весь терпеж вышел. Да-а... (Егор чешет лоб, на котором вздулась шишка.) Эдак, пожалуй, бить, так рога, как у барана, вырастут...

Бураков бросил карты и отполз от играющих к нам. Тычась папироской, чтобы прикурить, спрашивает:

— Живой, Ахмет?

Лицо Ахмета от морщинок разгладилось, в улыбку добрую разъехалось:

— Живой, Егор, мал-мал...

— Ну, и слава богу.

Бураков вынул кисет и, свертывая новую папироску, неожиданно вздохнул:

— И зачем, за что, скажи ты мне, Ахмет, гибнет столько народу?

Ахмет крутит головой:

— Э-э, Ягор, Ягор, откуда татарину знать, за что?

— И никто не знает.

— Знают!

Все оглянулись на Громанюка, который проснулся и, облокотясь на руку, полулежал, прислушиваясь к разговорам.

— Знают, ребята, за что воюют, да нам не говорят...

— А что?

— Да ничего! А им, вы думаете, говорят, немцам-то? Сговориться бы, что ли, с ними: давайте, мол, бросим эту затею, войну-то, да домой!

Громанюк взъерошил волосы:

— От нас это зависит...

Громанюк закурил, присел. Обдавая Егора дымом папироски, прищурился:

— Пойми, Егор! Армия — это мы, нас гонят, как баранов, на бойню. А во имя чего? В руках у нас оружие. Не лучше ли, чем гнить в окопах да бить немецких рабочих и крестьян, не лучше ли повернуть это оружие на наших общих врагов — царя и помещиков?

Мы смотрим на Громанюка и, затаив дыхание, слушаем его речь и переглядываемся.

Тихо-тихо. И неожиданно с «высоты небес» нас «ниспровергает» голос Буракова:

— Эх, Максим, Максим! Сладку речь ты поешь, голова садова, да горько ее слушать-то!

В блиндаж входят солдаты соседних взводов. Громанюк подмигивает нам и ловко переводит разговор на другое: начинает рассказывать матерную сказку — «Про попа, попадью и солдата».

Солдаты присаживаются в наш «кружок», закуривают, слушают и от души хохочут:

— Ай, да солдат! Вот он как батюшку-то обделал!

Мы тоже смеемся. А Громанюк улыбается и подмигивает:

— Солдаты народ хитрый...

Мы понимаем Громанюка. Молчим.

В разгар беседы с шумом отворилась дверь и на пороге, впуская в блиндаж целое облако морозного воздуха, появился занесенный снегом Шарагин.

— Что за шум, а драки нет?

Шарагин шагнул вперед. Широко расставив ноги, встал среди блиндажа — руки в карманы, шапку на затылок. Постоял так, посмотрел на нас и плюнул:

— Ребятушки! Три дня до перемирия осталось...

Перемирие! Позабыты были и карты, и щелчки, и все на свете. Все вскочили, сгрудились вокруг Шарагина, затормошили его, забросали вопросами. А Шарагин, чувствуя себя героем блиндажа, с небрежным достоинством свертывал папироску — и скромно:

— Что говорить-то! Тиш-ше! Прихожу я в штаб, а там — чорт ногу изломал!

— Ногу?

— Да. Чего, мол, спрашиваю...

— А они?

— А дежурный по штабу — друг он мне — говорит: «Знаешь, Шарагин, ведь перемирие с немцем для рождества христова заключили!»

— Врешь, Андрюшка!

— Ну, вру! Делегатов, говорит, посылали-и...

— Чего?

— Фу, чорт веревкин! Слушай ухом — не брюхом. Тебе по-русскому говорят: наши, из штаба, были у немцев и условие о перемирьи заключили.

Время было за полночь. Но мы не спали. Сон не шел.

Над окопами шумела пурга.

2

Утро. Нас перебросили на передовые позиции, заставили чинить укрепления, рыть окопы, исправлять разрушенные блиндажи и траншеи.

Пройдя около двух-трех верст узким ходом сообщения, наша «компания» вышла на Вислу, по правому берегу которой раскинулся фронт, и натолкнулась на командира роты Годовицына, распоряжавшегося работами.

Годовицын вынул из полевой сумки какую-то бумажку и, подавая ее мне и Егору, показал рукой вдаль.

— Вон, ребята, видите — лесок. Там стоят резервы нашего батальона. Найдите там Семенова, отдайте ему эту штуку — и обратно.

Отдав распоряжение, Годовицын щелкнул шпорами, повернулся к нам спиной и ушел. А мы, поправив за спинами свои ранцы, перекинули через плечи винтовки и пошли.

Лес был не очень далеко — верстах в четырех от наших окопов. Пройдя благополучно открытое место по берегу реки, мы добрались до леса, нашли там Семенова, отдали ему бумажку и пошли обратно.

В лесу было тихо. Угрюмо шумели деревья. Трещали от мороза стволы и сучья. Под ногами приятно хрустел снег, и не будь на нас шинелей и винтовок, мы — ни дать, ни взять — были бы похожи на простых деревенских мужичков, пришедших в лес за дровами.

Но мы были солдатами, находились на фронте, начальство послало нас с поручением, и мы должны были вернуться в окопы и доложить, что поручение выполнено и во время ходьбы с нами никаких происшествий не произошло.

Идем. Кругом — фронт. Недалеко неприятель. Идем тихо. Для осторожности оглядываемся по сторонам. Винтовки — на руке. Разговариваем вполголоса.

— Давай, Иван, закурим.

Достали кисеты, закурили.

— Ах, хорошо здесь! — запрокинув кверху голову, заметил Егор. — Лесу-то, а?

Внезапно он умолк и прислушался.

— Идет кто-то!

В стороне от нас что-то затрещало. Мы вздрогнули. Проворно вскочили, взяли в руки винтовки и, проверив затворы, спрятались за упавшим деревом.

Прошла минута. Шорох ближе. Смотрим — из-за кустов вышел немецкий солдат.

— Стой! Кто идет?

Защелкав затворами, мы выскочили из своей засады и побежали за немцем.

— Стой! Стреляю...

Немец остановился. Подняв руки, забормотал:

— Ирэ, руссэн, ирэ! [1]

Подошли ближе. Немец, утопая в снегу, встал на колени и все держал свои руки кверху. Мы подошли еще ближе. Немца забила дрожь. Видно было, как у него дрожало тело, зубы выстукивали мелкую дробь.

Немец молодой — лет двадцати шести-семи. Он

---

[1] Ваш, русский, ваш!

покорно стоял на коленях, и его смуглое лицо, чуть-чуть заросшее черной щетиной, было бледно, а в больших серых глазах стояли слезы.

— Стоп! — скомандовал Егор, наставляя на него свою винтовку.

Немец испугался еще больше. Озираясь и отворачиваясь от винтовки, он шептал:

— Ирэ, руссэн! Ирэ, ирэ...

Бураков отдал мне свою винтовку и, поставив немца на ноги, стал обыскивать. Выворачивая карманы, из которых на снег посыпались какие-то крошки, он засмеялся:

— Ни черта нет! Трубка только одна...

Немец не сопротивлялся. Но когда увидел у Егора свою трубку, встрепенулся и протянул к Андрею руки:

— Руссэн!

— Ты чего? — обернулся Егор и вдруг закричал: — Ванька, гляди-ка! Девка! Вота, в трубке!

Бураков подал мне трубку. И что же? В самую головку ее, куда насыпают табак, был искусно врезан миниатюрный портрет девушки.

Молодая девушка, красивая. На висках у нее завитушки; на лоб спущена прядь белокурых волос; небольшой носик вздернут «кнопочкой» кверху; маленький улыбающийся ротик, пухлые губы и глаза — большие-большие глаза. И вся она — полнолицая, пухлощекая, с улыбкой на губах и с ясным взором своих глаз смотрела на меня с трубки, словно живая.

— Ха! — любовался Егор. — А хорошая краля! Пра! Кто это? — обратился он к немцу. — Баба, невеста?

Немец чего-то заговорил по-своему и протянул к Буракову руки, умоляя отдать трубку.

— Эх, ты — надо? Ну, так и быть: на, камрад, твою мамзелю.

Виновато улыбаясь, Егор отдал немцу трубку и похлопал его по плечу.

— На, бери.

Немец взял трубку и с благодарностью пожал Буракову руку.

— Ты чего это?

Немец — ничего. Улыбнулся, смотрит на нас. Мы на него смотрим.

Постояли так, помолчали. Что делать дальше — не знаем.

— Ну, пошли, Ванюша?

— А этот...

— Кто, немец-то? Ха, чудак! В плен его надо забрать. Пра, в плен. А то как же! Чудак-рыбак, да нешто не знаешь: «Егория» за него получим. Может, он начальник, генерал какой-нибудь Вильгельмов.

Не дав мне сказать ни слова, Егор заторопился и махнул немцу рукой.

— Эй, ты, как тебя там, по-немецки-то... Айда! Слышь, айда — в плен. Плен, плен! Русский плен! Ту-у-да!

Он тряс головой, махал руками, показывая немцу, куда и как итти в плен. Немец не понимал. Он стоял, перебирая рукой пуговицы на своей шинели, и смотрел то на меня, то на Буракова.

— Ну, понял, что ли? — допытывался Егор. — Вот ведь бестолочь какая! Тебе, кажется, русским языком говорят: «Плен!» Понял?

Понял немец. Он тяжело вздохнул, опустил вниз свою голову и пошел. Мы взяли наперевес свои винтовки, встали по обе стороны немца и повели своего врага в плен.

Вышли на опушку леса. На берегах Вислы раскинулся русско-германский фронт: на левом берегу — немецкие окопы, на правом — наши, и передовые линии, авангардные силы двух армий стояли близко-близко друг от друга — их отделяла только одна, покрытая льдом и полыньями от разорвавшихся здесь снарядов, Висла.

Выйдя на опушку леса, Егор, отдуваясь, стукнул прикладом:

— Закуривай, ребята!

Сели. Немец в середине, мы по бокам. Вынули кисеты, начали вертеть «собачьи ноги». Смотрим — немец тоже трубку из кармана вытаскивает. Вынул, постукал ее о каблук сапога, снял варежку.

— Руссэн!

— Что? Курить хочешь?

Немец улыбнулся, кивнул головой на кисет и что-то опять проговорил по-своему.

— Ха-а? Ну, на, закуривай.

Бураков отдал кисет немцу. Тот неспеша набил свою трубку нашей махоркой, прикурил и, затягиваясь дымом, закашлялся.

Егор засмеялся:

— Что, не терпишь русского духу?

Немец улыбнулся и закивал головой:

— Гут, руссэн, гут...

— Гут? То-то, камрад ты этакий!

И вот мы — вчерашние враги — сегодня встретились в лесу, напугали двое одного, взяли в плен такого же, как и мы, только немецкого солдата — и сейчас сидим на берегу Вислы и мирно, как будто для нас не было ни фронта, ни войны, курим из одного кисета махорку.

Странно. Много странного бывает на свете...

Тыча в снег окурок, Бураков шмыгнул носом.

— Ну, итти пора.

— Постой, Егор. Неладно, брат, мы с тобой сделали...

— Чего?

— Да немец-то, вот...

— А что?

— Зачем мы его ведем?

— Как это — зачем? Вот чудило! В плен! А пра. Знаешь, нам за него «Егория» серебряного на грудь дадут.

— Да я не про «Егория». Я говорю: немца-то мы напрасно взяли...

— Как — напрасно?

— Ну, ладно. Ну, допустим. Ну, в плен. Пусть будет так. Согласен. А за что?

— Как это за что? — испугался Егор.— Ты что, Ванька! Мы с тобой присягу принимали и, как хочешь, враг он нам, неприятель.

— Ну и сказанул... Да какой он тебе враг, когда ты его в лесу, как зайца, сцапал?

— Зайца? Ха-ха-ха! А и правда ведь — как зайца. Бух! Он — в сугроб и лапы кверху. «Руссин, руссин...»

Егор засмеялся и похлопал немца по плечу.

— Слышь, камрад, как он тебя хвалит. Как зайца, говорит, поймали мы тебя! Слышишь?

Немец улыбнулся и уже без страха глядел на Буракова.

— А и правда! — продолжал Бураков.— Только не пойму, Иван, к чему это ты клонишь?

— Понять пора, Егор. Не маленький...

— А чорт его знает, как тут понимать-то,— сконфузился Бураков и задумался, повернулся к

немцу и положил ему на плечо руку.— Камрад, ты кто будешь — рабочий, мужик или кто?

И Егор начал проделывать руками какие-то только ему понятные штуки, показывал, как работает кузнец, как косит крестьянин, как ходит барин, и все допытывался у немца — кто он.

Немец, видимо, понял. Он нарисовал на снегу автомобиль и показывал, как он управлял рулем: давал ртом сигналы, размахивая руками...

— А-а! Шофер, значит...

— Давай, Егор, пустим его...

Егор задумался. Стоял, переминаясь с ноги на ногу. Вздыхал.

Потом подошел к немцу:

— Эй, ты... Слышь, как тебя... Камрад, иди сюда. Знаешь что? Айда, брат, дуй домой — во все лопатки!

Комкая слова, Егор старался объяснить немцу, что мы не возьмем его в плен, и, видя, что тот не понимает, плюнул:

— Ну что, не понимаешь, что ли! Тебе русским языком толмачу.

Немец не понимал. Наконец, когда Егор «вразумил» его больше маханьем рук, чем словами, он понял.

Понял, и глаза его заблестели радостью: той радостью, которую нельзя передать словами. Он порывисто вскочил с земли, затоптался, засуетился, забормотал чего-то, бросился к Егору на шею:

— Эх! Руссэн...

Егор не выдержал, смахнул с ресниц непрошеную слезу и подал немцу руку. Тот горячо пожал ее, попрощался со мной, снял шапку, поклонился и пошел.

Пошел, и долго еще было видно, как спустился

к реке, перешел на ее левый берег, постоянно оборачиваясь и махая нам на прощанье шапкой.

Немец ушел. А мы, два солдата, стояли на берегу, смотрели вслед своему «врагу» и молча улыбались.

— Ну, Ваня, айда! Пора уж. А он — дай ему господь добраться до своих да рассказать там, какие такие есть русские солдаты — Иван Михайлов да Егор Бураков.

Я посмотрел на Буракова и улыбнулся.

8

Над фронтом — рождественская ночь. Тихо. Морозит. В ясном ядреном воздухе — ни звука. И только в небе, словно фонарики, мигают звезды, да белеют снега на полях, да потрескивает, забираясь под ветхие солдатские шинели, мороз, да тихо колышется на бугре белый флаг, выкинутый в знак перемирия, да в окопах и над окопами стоит сплошной гул солдатских голосов.

Всю эту ночь мы не спали. До самого утра шатались, лазили, бродили по окопам и блиндажам, не находя от радости ни места, ни слов.

— Перемирие!

Словно дети, стали суровые и бородатые, измученные войной люди. Другие стали и лица и речи солдат. Вот где-то в темноте вспыхнула спичка. Солдат прикуривает, и видно на минуту, как в улыбку широкую разъехались губы, блестят глаза, сходятся и еще больше расходятся тугие морщины на лбу, серебрится борода от инея...

Спичка гаснет. Опять тьма. Только слышны голоса:

— Братцы! С перемирьем!

— Спасибочко, земляк!

— Р-ребятушки...

Проходит ночь. На востоке чуть забелело и зарумянилось небо. Начинался день. Мы встретили его рождение громовым «у-р-ра-а!» В воздух полетели варежки, шапки... Солдаты, словно маленькие дети, давно не видавшие своих матерей,— бросились друг к другу в объятия и целовались, плакали, смеялись...

А день разгорался. Появилось холодное, зимнее солнце. Заискрился снег; засверкали, точно серебряные, сугробы. В воздухе тихо, морозно, и кажется, что где-то в вышине что-то звенит и кто-то поет удивительно красивую песнь утра.

В окопах тишина. И вдруг давно-давно знакомое, отравляющее нашу радость, словно прокатилось из конца в конец, от края до края:

— Ста-на-ви-ись!

По окопам, с правой стороны идет начальство: генералы, полковники, офицеры... Идут со звоном шпор, с бряцанием сабель, с блеском орденов и погонов.

— С рождеством христовым, братцы!

— Ур-ра-а-а! Покорнейше благодарим!

Начальство проходит дальше. Нам командуют — «Вольно». Расходимся, собираемся в группы, закуриваем. Но не успеваем еще выкурить по папиросе, по окопам опять прокатывается:

— На молебен!

...Среди двух линий окопов, на ровной, расчищенной от снега площадке стоял стол: двое «козел» с положенными на них досками. На столе — скатерть, каравай черствого солдатского хлеба и

деревянная солонка с солью. У стола наш полковой поп готовился к богослужению: надевал светлую ризу, приглаживал волосы, раскладывал кропило, крест и евангелие.

К попу подошел командир полка полковник Нелькин.

— Можно начинать, батюшка.

Священник кивнул головой, отбросил назад свою гриву и засуетился. Нелькин, выпятив грудь, приосанился, набрал в свои легкие воздуха и заорал на все поле:

— Смирно-о! На молитву, шапки — доло-й!

Вскинулись кверху тысячи рук, обнажились ершастые, стриженые и лохматые солдатские головы, серьезными стали лица, заморгали воспаленные от бессонных окопных ночей и порохового дыма глаза. Над строем повисла тишина. Стоят, не шелохнутся стройные шеренги войск. Тихо. Торжественно.

Начался молебен. Молились. В воздухе бултыхались руки, мотались головы, слышался шопот, шел пар от дыхания людей. Широко размахиваясь, солдаты клали на лбы и на плечи тяжелые мужицкие кресты, низко кланялись, касаясь лбами холодного снега. Тихо струился из кадила ладан. Играло на кресте и на медных застежках евангелия солнце. А кругом сверкали снега, сияли сугробы, был фронт.

Кончив славословие, священник пробормотал чего-то над евангелием, взял в руки распятие, трижды благословил им солдат и, обмакнув в котелок с водой кропило, с какой-то молитвой и с пением пошел по рядам войск.

Солдаты, утопая в снегу, грохнулись на колени и тихо-тихо запели:

Спаси, господи, люди твоя
И благослови достояние твое.

Пели. А священник ходил по рядам, макал в котелок свое кропило и брызгал солдат водой.

Воды для всех нехватало. Ее постоянно подбавляли в котелок из бочки, которую возила за священником наша старая обозная лошадь «Дочка».

Священник кропил; брызги «святой» воды, попадавшие на солдатские головы и бороды, замерзали и блестели на солнце бриллиантами. Было холодно, морозно. Но это не отражалось на молящихся.

Они пели, и звуки неслись в вышину, в лазурные просторы неба, к солнцу, которое освещало своими лучами эту безрадостную и жуткую картину фронта, эти поля и сугробы, политые кровью и потом солдатским, эти усыпанные телами русских мужиков окопы, блиндажи и траншеи...

Молебен продолжался. Из походной церкви вышел крестный ход. Ярко блестели на солнце медные хоругви, мигали вставленные в фонари восковые свечи, дымились кадила; пахло ладаном; золотом сверкали поповские ризы и погоны генералов... И среди этого великолепия над головами солдат плыли, колыхались портреты царя Николая II и его жены Александры.

Шествие продвигалось вперед. Наш священник поднял распятие, запел молитву и пошел навстречу крестному ходу. Встретились. Военный оркестр грянул гимн. Запел многочисленный хор. Задымились кадила...

Началось новое богослужение. Попы и дьяконы

запели молитвы. Пели поодиночке, по-двое, потрое, десятками. Солдаты молились. Молился и я. Но когда запели многолетие царскому дому, когда над рядами войск понесли иконы и царские портреты, когда солдаты упали перед изображением царя на колени, — я не вытерпел, вышел из строя, убежал в свой блиндаж и в каком-то полубесчувствии повалился на солому.

— Ты что, Иван?

Поднял голову — Громанюк. Он подсел ко мне и, поглаживая меня, как маленького, по голове, участливо спросил:

— Что, Ваня, тяжело?

— Не говори, Максим! Чего там делают, чего делают! Победы у бога просят! Для царя: Победы — ему нашими телами, кровью нашей...

Громанюк оглянулся кругом, скрипнув зубами:

— Михайлов! Ваня! Давно я наблюдаю за тобой... Ты прости. Не думай, чего. Нет. А давно я хотел поговорить с тобой. Слушай.

Громанюк проворно распахнул шинель, расстегнул гимнастерку, снял с груди небольшой образок «Николая-чудотворца», щелкнул какой-то кнопкой, отчего у иконы отскочила задняя крышка, и вынул из «святителя» потрепанный лист бумаги.

— Вот она! Вот где наша правда!.. На, Иван. Бери, бери—не бойся... Прочитай. Ты—грамотный. Только знай: увидят у тебя эту штуку — оба под расстрел пойдем.

Разинув рот и хлопая глазами, я смотрел на Громанюка, не в силах выговорить даже одного слова. А Громанюк передал мне листок, погрозив пальцем, и вышел.

Я взял лист, развернул, и то, что я увидел на этой серой и потрепанной бумажке, заставило вздрогнуть и оглянуться.

— Эге! Вот так Громанюк...

Лист бумаги, так бережно хранимый солдатом полка ее величества—Громанюком, был... нелегальной газетой.

Я, дрожа и стуча от волнения зубами, начал читать. И каждая строка, каждое слово были для меня первым причастием к правде, к настоящей человеческой правде.

Фамилия автора одной статьи была «Н. Ленин». Мне хотелось спросить про Ленина и вообще про газету Громанюка, но Громанюк куда-то ушел, и я снова и снова бегал глазами по колонкам газетных строк, снова перечитывал.

«Именно пролетариат самой отсталой из воюющих великих держав должен был, особенно перед лицом позорной измены немецких и французских социал-демократов, в лице своей партии выступить с революционной тактикой, которая абсолютно невозможна без «содействия поражению» своего правительства, но которая одна только ведет к европейской революции, к прочному миру социализма, к избавлению человечества от ужасов, бедствия, одичания, озверения, царящих ныне».

Прочитав газету, я свернул ее, бережно спрятал в нутро шапки и вышел на волю. Где-то пели:

Спаси, господи, люди твоя
И благослови достояние твое...

Там, в окопах, служили молебен. Но итти туда я уже не мог.

I

Бреду по сугробам. Кругом — фронт. Влево виден Плоцк. Позади меня — наши окопы, впереди — немецкие позиции.

В изнеможении опустился на сугроб. Задумался.

Из раздумья меня вывел чей-то голос:

— Эй, руссэн!

Гляжу: на противоположном берегу стоит немецкий солдат, держа какой-то предмет, и, размахивая руками, кричит:

— Руссэн, эй, руссэн, мир!

Любопытство меня взяло:

— Что за немец? Чего ему надо?

А немец рукой машет, к себе зовет. Решился я. Спустился к реке, пошел, да второпях поскользнулся на льду и упал. А пока вставал да отряхивался, немец подошел ближе. Посмотрел я на него да так и ахнул:

— Эге, вот так встреча!

А немец идет, бутылку в руках держит, улыбается:

— Мир, руссэн, мир...

И вдруг он узнал меня. Руки протянул, бутылку уронил.

— О! Руссэн... Здрав, руссэн! Здрав!

Встретились! Опять встретились... Снова стоим друг против друга: стоим два врага, два солдата, два товарища по несчастью...

Стоим, смотрим один на другого, и невольно у обоих брызнули слезы.

— Руссэн!

— Камрад...

Успокоились немного. Гляжу: немец поднял со льда бутылку, откупорил, достал из кармана ал-

люминиевую манерку, налил в нее вина и подал мне:

— Пьэ, руссэн!

Выпил я — ничего, только дух немного захватило,

— Коньяк?

Немец улыбнулся, вынимает из кармана колбасу.

Закусили. А немец вынул пачку папирос, подал мне, а сам свою «знаменитую» трубку с портретом девушки достал. Показывает ее мне, смеется...

Закурили. В голове у меня зашумело. Немец тоже около лба пальцем крутит: дескать — кружится... Похлопал меня по плечу, показал на снег: дескать — сиди, жди.

Ждать пришлось недолго. Через час, наверное, он вернулся в сопровождении своего товарища. И тот на чистом-расчистом русском языке говорит:

— Здравствуй, русский! С праздником. Разреши поздравить с перемирием. Дай руку, в честь такого дня!

Стою, глазами только хлопаю. А немец улыбается. Славный такой мужик. Уже пожилой — лет под сорок, черноусый, с большим носом и — что меня поразило — бритый.

Стою перед ними, сказать чего-то хочу, слов не найду. Молчу. А немец смеется:

— Знаю, знаю, как вы Ганса в плен взяли... Молодцы! Рассказывал он нам. Спасибо! Разрешите, русский, познакомиться. Я буду очень рад. Я — Карл. Этот — ваш пленный — Ганс. А вас как звать?

— Иваном.

— А, Иван! Хорошее имя...

Рассказ Ганса произвел среди немецких солдат большое впечатление. Им говорили, что русские — это дикари, варвары, которых надо беспощадно истреблять, иначе они—русские—могут завоевать Германию, а немецкий народ сделают рабами и будут запрягать мужчин в плуги; а женщин насиловать и убивать.

Ганс объяснил своим, что русские такие же, как и они, солдаты, такие же рабочие, как и Ганс.

Сам Ганс до войны был шофером. В Берлине, где он работал на грузовой автомашине, у него есть невеста — Гета, которая его очень любит и подарила ему при отъезде на фронт свой портретик, а Ганс взял да и врезал его в свою трубку. Чудак Ганс!

Сам Карл до войны лет десять жил в России. Работал в Луганске на паровозостроительном заводе — механиком. Года полтора назад его вытребовали, как германского подданного, на родину, мобилизовали на фронт, и теперь он должен сражаться против русских, должен убивать людей, с которыми работал у одного станка и провел чуть ли не четверть своей жизни.

В разговоре Карл спросил:

— Ван, а где твой товарищ? Эгор, кажется... Хотелось бы мне увидеть его...

Не успел Карл сказать своих слов, как с крутого берега Вислы сбежал какой-то солдат и, увидев нас, заорал, да так, что по Висле как гром прокатилось.

— Вот тебе и Егор!

— Н-но?

— Самый он...

Егор быстро — только полы шинели раздувались по воздуху — побежал к нам. Подойдя ближе и увидя меня в компании немцев, остановился, попятился назад.

— Ба! Ванька, чорт... Я думал — ты топиться пошел.

Я похвалился перед своим другом.

— Во! Пленный-то наш, видишь?

— Плен-най? Постой, постой... А, камрад!

Поздоровались. Я представил Егора Карлу. Познакомились. Егор каблуками щелкнул, согнулся, подал руку, сказал «Здравсте!» — и отрекомендовался:

— Егор Бураков.

— Карл Келлер! — козырнул Карл Егору и стал откупоривать бутылку. — Ну, Эгор, выпьем?

— Как же, как же,—заторопился Бураков. — После такой встречи да не выпить — грех нам будет!

Карл налил половину манерки.

— На-ка, Эгор!

Егор осторожно взял манерку, смачно втянул носом винный запах, поморщился, поздравил нас с перемирием, пожелал всем «доброго здоровья», выпил, крякнул и защелкал языком:

— Ух! Хороша штука-то...

Манерка пошла вкруговую. Пьем. Разговариваем. Бураков рад: хвалит коньяк, Карла, Ганса, меня, снова коньяк...

— Да,— говорит он,— вот и воюй, ребята, с вами. Мы без хлеба сидим, а вы коньяк пьете, колбасу едите. Это — не игра. С колбасой-то и я бы воевал...

— О, Эгор! Позавидовал! Я бы на воде с хлебом сидел, только бы не воевать...

— А что, или и у вас плохо?

— А кому на войне хорошо? Разве не в одних окопах сидим, не одних вшей кормим? Ну вот... А ты хвалишь. Пей вот лучше, а завтра, может, в бою сойдемся.

— Ну и что же? Схлестнемся...

— Стоп! — неожиданно поднял Егор палец.— Что я надумал: идемте к нам в гости! Право. Идемте. У нас там как раз провизию дают.

— Нет, нет, Эгор, что ты...

— Э, да будет вам! Пошли!

Поочереди, Бураков приподнял Карла, потом Ганса, стряхнул с них снег, подхватил их под руки и повел. Карл сначала упирался, отнекивался. Но Бураков уломал его, и наш «вероломный» враг обнял Егора, покачиваясь, пошел рядом с ним.

Я и Ганс шли позади. Оба, каждый по-своему, доказывали, что в том, что мы делаем, нет ничего плохого, ибо «немец всегда добродушен, а русский человек — гостеприимен».

Фронт. Война. Окопы... Два солдата ведут своих врагов в гости... Странно! Очень странно...

Это странное событие случилось в окопах русско-германского фронта 25 декабря 1915 года под городом Плоцк.

5

В окопах, в блиндажах, как в ульях, под возгласы одобрения и удивления солдат мы пробирались со своими гостями к блиндажу. Уже вечерело. Гости сначала трусили, но потом освоились и с любопытством глядели на никогда не виданный ими праздник своих врагов.

Что было на душе у наших гостей — не знаю. Ганс со мной не говорил, а Карл осматривался, щурил глаза, часто останавливался и то и дело спрашивал:

— Ван, а это что? А это что такое?

Я объяснял. Карл недовольно морщился:

— О, Ван, в таких окопах можно только умирать.

Признаться, мне было стыдно слышать эту правду от своего врага. Чтобы скрыть смущение, я что-то говорил Карлу, но он только морщился.

— Ван, брось, в таких условиях вы никогда не победите.

— Ты думаешь?

— Определенно! Война, Ван,— это техника! А у вас вся сила — ружье, штык, молитва, водка. Да разве с этим воюют?

— Что ж поделаешь: заставляют — и воюем...

— Эй, Иван, Иван! Что делать? Очень просто: сила здесь на фронте мы, солдаты! Понял?

Я покосился на Карла. Что это? Он и Громанюк... Почему у них одинаковые мысли?.. Мы уже подходили к своему блиндажу.

Егор ушел получать рождественский паек: бутылку водки, фунт колбасы, калач и пачку папирос; я направился к нашему блиндажу.

— Эй, принимай гостей!

Ребята наши удивленно вскочили на ноги и, не понимая, в чем дело, окружили моих друзей.

— Иван, какими судьбами?

Я представил Громанюку Карла. Карл, немного бледный, но спокойный, поздоровался, назвал себя, отрекомендовал Ганса и кратко рассказал о

причине их прихода, о том, как я и Бураков взяли Ганса в плен.

Ребята еще не знали о нашем подвиге и засыпали меня вопросами. Я в свою очередь объяснил историю нашей встречи и, отводя Громанюка в сторону, шепнул ему о разговоре Карла, когда мы шли с ним сюда.

Громанюк насторожился. Потом подмигнул мне: дескать — помалкивай, и обратился к Карлу:

— Извиняюсь...

— А?

— На минуточку...

Громанюк с Карлом вышли на волю, поговорили там что-то и вскоре вернулись обратно.

— Ну что, Максим?

— О, ребята! Радость-то какая, а! Земляков, оказывается, Ванька привел! Право. Карл в России жил до войны. В Луганске вместе с моим отцом работали! Знакомьтесь, давайте: Карл, вот наши ребята. Все свои. Ребята, знакомьтесь, сажай гостей за стол!

Наши ребята оправились от смущения, раздвинули круг, посадили Карла с Гансом за стол.

Вскоре пришел Егор.

— Ну вот мы и с праздником, ребята,— расставлял он на полу свою провизию. — Вот так. Ну, закуривай, ребята! Карл, бери. А ты чего, Ганс? А-а, он свою трубку... Дело, дело. Так. Кури, давай. Будьте как дома. Так. А теперь как хотите, а я выпить хочу.

Не прошел час-другой, нашу землянку уже нельзя было узнать: шум, смех, разговоры, — все это смешалось в одну кучу, но одно другому не мешало.

Андрюшка Шарагин то и дело подливал в кружки водку и усердно потчевал:

— Ну-ка, дорогие гости, дербалызнем!

Гости не отказывались. Наши ребята от гостей не отставали. Кое-кто, в том числе и я, уже «нагрузились» и начинали «пробовать» голоса. Но песни у нас почему-то не выходили: то высоко возьмем ноту, то мотив перепутаем, то еще чего.

А Шарагин, счастливый и улыбающийся, распоряжался всем столом и пиром, устанавливал порядок, угощал и орал на весь блиндаж:

— Ш-ша! Довольно! Ш-ша! Вот! Михайлов, будь другом, дай Ермака!

Песня «Ермак» была любимой песней Шарагина. Я запел ее низко, протяжно, длинно:

Ревела буря, дождь шум-мел,
Во мраке мол-ло-нья сверкали...

— Во! Во-во! — подзадоривал Шарагин.

Сибирь царю покорена,
Но Ермака уже не стал-ло-о.

Шарагин, обняв Ганса, старательно выводил самые высокие ноты песни, и его тенор звенел по землянке, как серебряный колокольчик.

Смотря на Шарагина, наши гости не выдержали: подлаживаясь под «Ермака», они затянули что-то по-немецки и пели, позабыв, что находятся у неприятелей, с которыми, может быть, завтра придется сойтись в рукопашном бою.

Так мы встретили и провели первый день рождества христова.

6

В блиндаже еще темно.

С трудом я приподнялся и открыл дверь. С воли ворвалась морозная струя воздуха. Стало легче. Оглядываюсь. Шарагин сидит на сундучке, обувается. По углам и на полу блиндажа валяются пустые бутылки, окурки, огрызки вчерашней закуски и наши ребята.

— Ишь, черти, дрыхнут,— поддергивая брюки, Андрюшка прошелся по блиндажу.

— У тебя башка болит?

— Болит.

— Айда тогда умоемся снегом.

Вышли на волю. Было еще рано, морозно и холодно. Но день выдался хороший — яркий, солнечный. Над окопами тихо и пусто. Все еще спали. Не было даже часовых. Только легкий морозный ветерок играл белыми флагами, выставленными в знак перемирия.

Выпрыгнули за бруствер.

Что это такое?

По полю, в окопах, уткнувшись как попало в снег, в разных позах и местах валялись солдаты.

— Чего это?

— Замерзли!

Да, это были замерзшие. Вчера, напившись пьяными, солдаты разбрелись и расползлись из окопов и, уткнувшись в сугробы, уснули, чтобы больше не просыпаться. Так встретило русское воинство великий праздник рождества христова.

Потерев снегом лицо и руки, мы умылись, пошли обратно. В блиндаже уже проснулись. Ребя-

та и гости сидели на полу — растрепанные, с опухшими лицами и косо поглядывали на пустые бутылки.

— Ага! Проснулись?

Промолчали. Кто-то попытался сморозить какую-то шутку — ничего не вышло.

Ахмет взял чайник, пошел за кипятком. Молча попили чаю, закусили рождественскими поскребышами и, закурив, молчаливые и недовольные опять расселись по углам, нахохлились.

Немцы начали собираться домой.

— Ну, друзья,— улыбнулся Карл,— большое спасибо за ваше угощение. Благодарим. Желаем так же весело провести время и сегодня. А мы пойдем.

Всей компанией пошли проводить гостей. На прощанье Ганс что-то сказал Карлу. Тот улыбнулся:

— Ах, да! Я и позабыл. Знаете, что, ребята? Громанюк, Шарагин, Эгор, приходите к нам! Все приходите. Что? В гости!

Предложение Карла понравилось. Только Бураков подозрительно покосился на Карла и спросил:

— А ничего там с нами не случится?

— Не беспокойтесь. Все наше командование уехало по случаю перемирия в тыл; в окопах — одни солдаты. Ну, а солдат солдату, известное дело, свой человек. Придете? Ну вот. До свидания. Значит, вечером переходите Вислу — и к нам. Мы встретим вас вон у этих деревьев...

Простились. Карл с Гансом спустились на лед, перешли Вислу и скрылись на противоположном берегу. Мы постояли, поглядели им вслед и побрели обратно в свои окопы.

7

В сумерки собираемся в гости. Андрюша захватил с собой гармошку. Мы принаряжаемся и всей компанией выходим из блиндажа. На воле вечер. Холодно. Под ногами хрустит снег. Морозит. Мороз бодрит нас, вливает в тело новые силы, и мы, с шутками, прибаутками, веселой гурьбой идем к Висле.

Спустились к реке, перешли ее, остановились. Андрюшка вложил в рот два пальца. По замерзшей реке, отдаваясь вдали эхом, прокатился пронзительный «разбойный» свист. В ответ залаяли сторожевые немецкие собаки. Испугались. Присели, прислушивались. Через минуту с берега послышался тоже свист — отрывистый.

— Они!

— Наверное.

Осторожно пошли дальше. Навстречу нам из тьмы показались фигуры людей. Мы остановились, окликнули:

— Карл!

— Я.

— Ну, как дело-то?

— Ничего, идемте.

Вышли на берег. Кругом была ночь. Морозило. На небе блестели крупные, яркие звезды. И в эту ночь, под этими звездами вчерашние враги встретились еще раз как товарищи...

8

Добрались до блиндажа. Вошли в него.

— Эге-ге-ге! Настряпали...

Посредине блиндажа стоял самодельный стол,

две пустые бочки из-под цемента, на них — дверь. На столе бутылки с красным вином, белый хлеб, банки консервов, папиросы.

— Здравствуйте, товарищи!

Увидя Буракова, Ганс встал со своего места.

— О-о, Эгор, здрав бывай, Эгор!

Бураков схватил Ганса за руку.

— Ганя! Здравствуй, друг...

Поздоровались. Немцы с любопытством рассматривали нас со всех сторон; потом начали хохотать.

Признаться, нам было стыдно перед своими хозяевами. Немцы — то ли на время перемирия, или к нашему приходу — надели новое обмундирование: суконные тужурки и такие же брюки; некоторые были в желтых гетрах, в чистых рубашках и даже при галстуках.

А мы? Грязные, лохматые и бородатые, в старых шинелишках, в полухудых «голых» сапогах...

В блиндаже было тепло. В углу топилась раскаленная докрасна железная печка. Стены блиндажа обиты тесом. Накат из толстых бревен — снарядом не прошибешь. Кругом чисто, уютно и так хорошо, что Егор не вытерпел и от чистой души похвалил:

— А-яй! Ну и живете вы! Как баря...

Карл перевел Егоровы слова своим товарищам. Те засмеялись и начали что-то говорить.

— Ребята! Я помню одну русскую пословицу: «В гостях воля не своя», кажется. Давайте раздевайтесь, будьте как дома и, знаете что, только не обижайтесь: разрешите привести вас немного в порядок. У нас есть машинка. Хотите остричь волосы?

— Волосы? — обрадовался Шарагин.

В руках у одного немца блеснула машинка. Он пощелкал ею и, смеясь, спросил:

— Кто первый?

Поочереди мы садились под машинку и, не успели опамятоваться, наши волосы, усы и бороды уже лежали кучей на земле, а головы стали как арбузы.

— Эх! Вот хорошо! — вскрикнул Шарагин и звонко шлепнул Буракова по голой голове.— Теперь у тебя на башке, Егор, в шары можно играть!

— Брось ты, дура!— оглядываясь на немцев, обиделся Бураков.— Чать, не дома.

Пока Шарагин с Бураковым шутили, немцы присели на корточки и разглядывали лежащую на полу кучу наших волос. Куча была живая, тихонько шевелилась. Я тоже подошел к немцам и вздрогнул. Но ничего страшного не было: это шевелились вши.

Нам было стыдно. Громанюк быстро собрал наши волосы и бросил их в печку. Вши затрещали на огне, как масло на сковороде.

— Простите, товарищи...

Немцы переглянулись между собою.

— Да, ребята. Видно, не сладкое у вас житье, когда такое стадо развели.

Карл подмигнул своим, подошел к ящику, открыл его, вынул, видимо, заранее приготовленный сверток, развернул его и подал каждому из нас по паре белого трикотажного белья:

— Одевайте.

— Как — одевайте?

— Так и одевайте. На память.

Бураков даже рот разинул от удивления.

— Господи! — перекрестился он.

— Да как же это, а? За что же, Карл? Что ты это... Мы завтра, может, убивать вас будем...

Стыдясь и стесняясь, мы переоделись. Карл пригласил нас к столу, налил в манерки коньяку.

— Ну, друзья! Поздравляю вас с перемирием и с нашей дружбой. Пусть наша сегодняшняя встреча послужит залогом скорейшего окончания войны. Друзья! Мы — солдаты. У нас общее горе — война. Так пусть в этой кружке загорится наша надежда, что скоро будет заключен мир и мы вернемся домой.

Выпили. Повторили. Немцы, через Карла, попросили нас спеть «Ермака».

Мы спели. Немцы захлопали в ладоши.

Андрюшка взял гармошку... Играл он замечательно. Так играл, даже Бураков вылез из-за стола, топнул ногой:

— Андрюшка! Дай камаринского!

Андрюшка перебрал лады и заиграл «камаринского»:

— Крой, Егор, вдоль Волги!

Егор взмахнул руками, крикнул «Эх»! — и неуклюже, точно медвежонок, затоптался на одном месте, смешно тряся задом и шваркая сапогами.

Немцы повскакали с мест, захлопали в ладоши, закричали:

— Браво! Бис, русский!

После Егора плясали поочереди все: и немцы и мы. А когда Андрюшка перестроился на ходу и заиграл «Казачка», вдруг выскочил Громанюк и, отбив чечетку, показал такую восхитительную присядку, что немцы рты разинули.

Неожиданно нашу радость испортил Егор. В самый разгар веселья он вырвал у Шарагина

гармонь, отшвырнул в сторону, подбежал к столу, налил манерку коньяку, выпил его и с треском разорвал на груди гимнастерку.

— Егор! Егорка, что ты?

— Эх, ребята! Ведь завтра воевать начнем! За что? За что мы будем изводить друг друга, а?

— Егорка, брось! Брось, говорю тебе. После об этом. После! Не сейчас. Здесь не место. Брось!

Но Егорка разошелся. Он оттолкнул от себя Громанюка и засучил рукава:

— Уйди, Максим, убью! Нельзя... Чего нельзя? А я скажу! Скажу я. Счас скажу! Что ты мне — рот заткнешь, да? На-ка, вот! Как я буду, коли завтра скажут: «Пли!», «Огонь!» — а я знаю, что здесь они вот: Карла, Ганс, они вот!

К Буракову подошел Шарагин, хотел его успокоить, но в тот же миг отлетел от него, словно котенок, вздумавший поиграть с волкодавом.

— Уйди, Андрей. Зар-режу! Растревожили! Душу мою растревожили.

Егор схватился за бутылку и запустил ею в одного немца. Тот увернулся от удара и подошел к Егору.

— Эгор! У вас на сердце тяжело, бутылка не есть виноватый. Бутылка разбивать — вам не будет легко. Надо головой думать, как сделать легко. Ногой-рукой только осел делает так. Вы — не осел, Эгор.

Но Буракова унять трудно.

— Осел! Осел! — кричит он.— Да что мне твой осел, когда у меня душа с места тронулась! — Егор схватил Ганса за ворот гимнастерки и стал трясти, приговаривая: — Ганя! Ганька, понимаешь — сердце с места тронулось!

Ганс ловким движением подставил Буракову «ножку», опрокинул его на пол и повалил.

— А! Так! Да! Я тебя! Заррежу-у!

— Вяжите его! — крикнул Громанюк. — Вяжите, ребята!

Мы навалились на Егора, связали его ремнями и положили в угол. Но Егор еще с полчаса орал, грозился кого-то зарезать и, наконец, уснул.

— Какой беспокойный характер у этого солдата, — заметил один из немцев. — Это — плох. Он потеряет свой дурной голов — как котелок.

— Ничего, — сказал Громанюк. — Проспится, человеком будет.

Егор спал. Но «компания» наша уже расстроилась. Мы стали собираться домой. Шарагин хотел было будить Буракова, но Карл остановил его, сказав:

— Ничего, пускай спит здесь. Проспится — придет.

9

Над окопами морозный вечер. Тихо. Ясно. Ярким дрожащим светом мерцают звезды. Опрокинулся по небу ковш Большой Медведицы. Чернеют окопы, леса. Раскинулись кругом безбрежные, завьюженные буранами поля. И среди этих снегов и полей, изрытых окопами и развороченных снарядами, в кольце жарко и весело потрескивающих костров стоит громадная ель.

Это — елка. Наша, солдатская елка, наша окопная радость.

Мы встречаем новый — 1916 год!

Ровно в полночь зажгли елку. На ее вершине вспыхнула яркая «вифлеемская» звезда, замигали

«китайские» фонарики, запылали костры, с боков на елку были наведены прожекторы.

И среди этой красоты и великолепия выделялась одна нелепица — солдаты: в рваных шинелях, в худых сапогах, небритые.

Солдаты переглядывались между собой, переговаривались. На фанерном ящике черным углем было написано: «Долой войну!» Около солдат топтался Андрюшка Шарагин. Он щурился, непринужденно дымил папироской, казался равнодушным, но по всему было видно, что «воззвание» было делом его рук. Однако Андрюшка и вида не подавал, только щурился да лукаво улыбался:

— А-а! Здорово написано...

Когда Шарагин пришел в наш блиндаж, Громанюк спросил его:

— Андрей, это ты намалевал?

— Я, Максим!

— Смотри, парень...

— Смотрю, Максим. Обоими глазами.

— То-то...

— Ничего! Действовать надо...

И Шарагин действовал. Он ходил по окопам, угощал солдат махоркой, прислушивался к разговорам. Лохматые и грязные, мы стояли вокруг елки и искренне, по-детски восхищались.

Восхищаться было чем. На елке болтались кисеты с табаком, пакеты, сумочки с гостинцами — жертвы и труды «сердобольных» барынек и гимназисток.

Внизу, у самого основания елки стоял «дед мороз». Он был одет в новую солдатскую шинель, на голове — башлык, в руках — винтовка со штыком.

Около него толпились солдаты, которые «отмачивали» перед ним разные штуки.

— Ай, мороз! Ай, старик!

— Не подходи, паря, пульнет!

Хохотали. И на самом деле, все это — и елка, и «мороз», и подарки внесли в нашу жизнь маленькое разнообразие, все это напоминало о далеком доме, о семье.

Было и радостно и грустно.

...Торжественную встречу нового года открыл командир полка полковник Нелькин. Он подошел к «морозу», козырнул ему и попросил разрешения поздравить солдат с новым годом. «Мороз», конечно, разрешил. Нелькин встал на бочку, поднял вверх манерку с водкой и поздравил нас:

— С новым годом! С новым счастьем, братцы!

— Ура!

— Пусть этот год принесет нам победу!

Грянула музыка. Вверх полетели ракеты. Раздались залпы. Солдаты затеяли вокруг елки хоровод, придумали старинную русскую игру в «заиньку».

Игра состояла в том, что выбирали «жениха», он становился в хоровод и запевал:

Хожу я, гуляю
Вдоль по хороводу...

А остальные хором подхватывали припев:

Заинька, беленький.

Жених выбирал себе из числа играющих «сваху», потом «гостя», тещу и, наконец, «невесту». Когда «невеста» была выбрана, устраивали «свадьбу», угощали молодых, они, в свою очередь, угощали нас и начинали играть снова.

«Сваха» представляла из себя пьяную бабу: кувыркалась в снег, визжала, охала. «Невеста» кокетничала — ходила по хороводу, виляя задом, говорила смешные прибаутки, целовалась с «женихом». А «жених» важно кашлял, крутил свои усы, говорил по-«интеллигентному», потом валил «невесту» на снег и ржал по-лошадиному:

— Иго-го-го! Иго-го-го!

. . . . . .

Прошла новогодняя ночь. Погуляли. А наутро на крутом обрыве берега Вислы в снегу торчал длинный шест, на котором была прибита доска от фанерного ящика.

На рассвете, когда солдаты расходились с елки, по блиндажам были разбросаны листовки.

На время перемирия крупное начальство уехало в Плоцк. Среди солдат началось брожение.

Только здесь, в окопах, в дни перемирия я окончательно понял, что такие люди, как Громанюк и Карл, представляют из себя громадную магическую силу, которая невольно притягивала и подчиняла себе каждого солдата, делая их активными участниками фронтовых событий.

А события нарастали.

Карл сообщил нам, что у них в окопах тоже неспокойно: отдельные солдаты и даже целые части немецких войск открыто отказываются сражаться против русских. Две роты у них уже расформировали и отправили в тыл. Многих арестовали.

. . . . . .

У нас радость — приехал Андрей Александрович Буренов.

С момента нашего разгрома мы еще не видели своего прапорщика и, признаться, скучали по

своем командире. Но сегодня Буренов опять с нами.

— У-с, чорт! Вот они где! — вваливаясь в блиндаж, заорал Буренов. — Здорово, ребята! Здравствуйте!

— Б-ба! Андрей Александрович! — вскочил Шарагин. — Дорогой гость!

— Ну, Андрей, как дела? Как перемирие провел? У немцев был?

— Был, ваше благородие. Всей «компанией» ходили!

— Вот чорт! Чего же ты делал у них?

— Гулял!

— Н-ну? Это здорово! Да, Андрей, а ты какое тут воззвание написал?

Андрюшка запнулся, закусил губу и невнятно забормотал:

— Я? Чего я? Ничего...

— Брось, — сплюнул Буренов. — Ты что мне вкручиваешь! Думаешь, не знаю? Ну, вот. Да ты не бойся. Нет. Только знаете что: за вами, ребята, следят!

— Что-о? — вздрогнул Громанюк.

— Да, да! Следят. Еще в Плоцке слышал... Будьте осторожнее. Как своим говорю. Знаю, ребята: хорошее дело задумали.

Мы рты разинули на своего прапорщика. А Громанюк, прищурив глаз, подошел к Буренову ближе и твердо спросил:

— Буренов! Скажи по совести, наш?

Буренов отступил шага на два назад и ласково, просто улыбнулся.

Громанюк и Буренов подали друг другу руки и искренне расцеловались. Буренов вытирал вспотевшее лицо. На глазах у Громанюка были слезы.

10

Стоим над станцией Шидловская. Над окопами весна. Тают снега. На холмах и пригорках появились первые плешины земли. Начинает зеленеть трава. Греет солнце. От земли поднялся пар. С каждым днем становится все теплее и теплее. Бегут невидимые под снегом ручьи. Журча и позванивая, они расползаются в разные стороны, заполняя водой ямы, ложбины, воронки.

Весна! Но для нас она не на радость. Зимой нам было лучше. Хотя и холодно, зато сухо. А сейчас каждая яма превратилась для нас в ловушку. Сверху на ловушках снег незаметен, а встанешь на это место — и, у-ух! — чуть не по горло уйдешь в холодную, ледяную воду.

Кроме того, местность под Шидловской низкая, болотистая, а русские окопы были сделаны так, что их с первого же дня таянья снегов стало заливать водой.

Весенняя вода принесла нам неисчислимые бедствия. Она размывала окопы и укрепления, мешала продвижению войск, топила артиллерию и коней, обозы и транспорты...

Мы день и ночь гатили болота: строили дамбы, дороги, мосты, выкачивали и отливали из окопов воду ведрами, котелками, кружками; устраивали плотины, насыпи, земляные барьеры. И ничего не помогало. Вода капля за каплей просачивалась сквозь устроенные нами преграды, неожиданно прорывалась где-нибудь — и сплошными потоками хлестала в траншеи, смывая на своем пути землю, повозки, людей, лошадей и орудия.

У нас распространились слухи, что немцы готовят какой-то таран, которым они хотят разгро-

мить наш фронт от Баржимова до Шидловской и до основания уничтожить всю нашу армию.

Под Шидловскую пригнали семь дивизий пехоты и сто батарей артиллерии. Готовились к большому сражению. Мы круглые сутки ремонтировали укрепления, рыли новые окопы и траншеи.

Немцы также готовились. По ночам, когда на фронте особенно тихо, слышно, как гудит земля. Это подходят на позиции немецкие военные транспорты — подвозят войска, артиллерию, снаряды, провиант, боевое снаряжение.

Русские перебросили под Шидловскую сто двадцать тысяч человек пехоты, посадили ее в окопы, а на Шидловских высотах устроили «артиллерийскую подкову», поставили полукольцом шестьсот орудий (сто батарей, по шесть орудий в батарее), зарядили их и стали ждать наступления.

. . . . . .

Настал день, когда немецкий таран был пущен в ход.

Он начался ураганной артиллерийской бомбардировкой. Немцы били по нашим окопам из тяжелых орудий. И били очень оригинально. Они разделили русский фронт, как шахматную доску, на отдельные квадратные клетки и клали в эти клетки, размером не более одной квадратной версты, от двух до трех тысяч снарядов.

В воздухе стоял непрерывный гул. Осколки снарядов, шрапнель и пули летели так часто и густо, что когда Шарагин, «шутки ради», надел на палку свою шапку, то через какую-нибудь минуту она превратилась в лохмотья, а палка была расколота в щепки.

Мы все глубже и глубже зарываемся в землю. Земля дрожит. Раздаются взрывы. В воздух взле-

тают разорванные на клочья люди и целые горы земли и, взлетев, с шумом, с грохотом падают обратно, заваливая и погребая под собой живых и полуживых еще от страха людей.

И весь этот кошмар усиливался еще тем, что с нашей стороны не было ни одного выстрела. Нам запретили отвечать на огонь неприятеля. У нас было мало снарядов и патронов.

Русский фронт казался мертвым.

В полдень бомбардировка прекратилась.

Но тишина продолжалась недолго. Вскоре где-то вдали послышался гул. Сначала слабо, потом все ближе и ближе, все сильнее слышался этот гул.

Мы не вытерпели; словно галчата из гнезда, высунули из окопов свои головы — и...

— Р-ре-бя-та!

Впереди нас, по всей линии фронта — и вправо, и влево, и куда только ни взглянешь, на наши окопы двигалась мутно-зеленая волна с черным гребнем. Это шла в атаку немецкая пехота.

Немцы наступали лавой. Густота их войск доходила до того, что в одном месте, на протяжении трех-четырех верст, пехота слилась в сомкнутый строй и мерным шагом, поблескивая штыками и касками, шла вперед.

Идет. Все ближе и ближе... И вдруг с Шидловских высот раздался залп. Страшный залп! Заколебалась под ногами земля. Дрогнул и загудел от оглушающего взрыва воздух. Над нами прожужжали сотни снарядов.

— У-у-у-у-у-у!

Русское командование хотело одним залпом ударить по немецкому тарану и потом пустить в дело пехоту и конницу. Но артиллеристы взяли неправильный прицел,—не рассчитали, видимо, или им

так было приказано: большинство снарядов дали недолет и упали на наши же передовые линии окопов, не причинив немцам никакого вреда.

Сидящая в передних окопах наша пехота, услыша залп и видя, что снаряды рвутся в наших траншеях, подумала, что немцы ударили с тыла, и, без приказов и не сговариваясь, стала отступать.

Своим залпом артиллеристы открыли врагу место расположения наших батарей. Открыли — и минут через пятнадцать заговорили немецкие батареи. И через час наша артиллерия была разбита.

Немецкая пехота снова со штыками наперевес шла в атаку.

. . . . . .

Уже затихли последние выстрелы с нашей стороны. Уже пронеслись на храпящих лошадях последние уцелевшие батареи «знаменитой» шидловской артиллерии. Уже в грохоте немецких орудий не слышно ни стонов раненых, ни криков живых людей. Уже не видно в пороховом дыму бегущих, спотыкающихся и падающих солдат. Уже ничего не видишь, не слышишь и не соображаешь. Чувствуешь только одно: мы разбиты и нас еще бьют.

Нет и пулеметчиков. Лежат они, раскиданные по широкому полю шидловскому. Крепко уснули пулеметчики. А их пулеметы, уткнув свои тупые рыльца в землю, уже перестали хохотать своим трескучим смертоносным смехом. И только четыре пулемета, около которых находится наша «компания», продолжают тараторить горячим свинцом.

Около нас — никого. В окопах только мы — семь рядовых пулеметчиков да прапорщик Буренов.

Остальные отступили. А нам бежать было нельзя; достаточно было показать из окопа голову, как ее моментально бы разнесло на черепки.

Буренов точно окаменел. Он лежит в наблюдательном пункте, недалеко от нас, и только кричит:

— Чорт! Держись, ребята! По левому флангу, огонь! По левому... Правее, чорт! Так. Держись, ребята... Держись. До последнего патрона держись...

Мы держимся. До крови закусив губы, забывая об опасности, мы судорожно вцепились в ручки пулеметов и, едва успевая заправлять ленты, бьем.

Слабеют наши пулеметы. Один из них так раскалился, что уже не тарахтит, а только плюется — как шамкающая беззубая старуха, и пули, едва вылетев из ствола, уже не режут воздух, не визжат, а тихо ложатся впереди нас расплавленными.

Над полем сражения стоит густой пороховой дым. Над нами рвутся снаряды. Цокают пули. Визжит картечь. Но мы ничего не чувствуем.

Жарко. Душно. От дыма, от разбрасываемой снарядами земли ничего не видно. Пороховые газы распирают грудь, стесняют дыхание, вызывают кашель, хрип. Раскаленные части пулеметов жгут руки. Около нас навалены вороха патронов, груды мертвых тел...

Мы тщетно стараемся преградить огнем своих пулеметов наступление врага; мы беспощадно, в упор расстреливаем немецкую пехоту, — а пехота все идет и идет.

Наконец не выдержали. Егор бросил пулемет, сел на дно окопа и тихо прохрипел:

— Броса-ай, ребята...

Пулеметы умолкли. В окопе стало тихо.

— Стой, ребята! — кричит Буренов. — Стой, не бросай!

— Ничего не выйдет, ваше благородие.

— Выйдет!

Буренов встал из-за прикрытия и направился было к нам. Но не успели мы глазом моргнуть, как Буренов покачнулся, взмахнул руками и упал. Мы подбежали к своему командиру. Поздно. Буренов был уже мертв.

— Эх, Андрей Александрович...

Молча мы переглядываемся друг с другом. Всем тяжело.

Проходят минуты. Мы начинаем прощаться. Ахмет встает на колени, начинает молиться. Латыш — наружно спокоен: он, до крови закусив губы и сжав кулаки, стоит и о чем-то думает. Громанюк позеленел. Егор-Егорьевский виновато хватается за свой зад, но мы не обращаем на него никакого внимания: ничего не поделаешь — война, страх...

Ко мне подползает Шарагин. Он обнял меня, поцеловал и заплакал:

— Иван, Иван! Пропали, ни за грош!

Прощаемся.

Вдруг Громанюк сорвался с места и побежал к соседнему пулеметному гнезду.

— Куда? Чорт!

Смотрим: Громанюк тащит из кустов два пулемета.

— Давай патронов! Давай патроны!

Поняли. Торопливо, ползком, забывая об опасности быть убитыми, мы собираем патронные ленты, складываем их около своих пулеметов.

Страх прошел. Пулеметы — в боевой готовности. Ахмет бросил своего аллаха и, заправляя ленту, шепчет:

— Давай, давай, малай! Давай, покажем яво сейчас шакалад-мармалад.

Мы подпустили немцев на сто шагов и открыли огонь.

Где-то в стороне раздалось тихое, неуверенное:

— Ура!

Это наша пехота, оправившись от разгрома и почувствовав в трескотне наших пулеметов поддержку, пошла в контрнаступление. С правой стороны прогремел одинокий орудийный выстрел. За ним второй, третий... Громче, чаще, смелее. Застрекотали чьи-то пулеметы. Откуда-то на юрких и мохнатых лошаденках выскочили донские казаки.

— Ура-а!

— Ур-ра-аа!

Мы бросили стрелять, переглянулись и облегченно вздохнули.

Радость была преждевременной. Часа через полтора страшным контр-ударом немцы опять опрокинули наши войска, заставили отступить и опять пошли в атаку.

Наши отступили. А мы попрежнему сидим и лежим около своих пулеметов и приготовились опять: или погибнуть, или отразить нападение врага.

Ни погибнуть, ни отразить врага не пришлось.

В самый разгар наших приготовлений к бою из-за кустов выехал Годовицын.

— Вы чего тут?

— Немца бьем, ваше благородие!

— Дураки! Бегите! Весь фронт уже отступил.

Стоим верстах в двенадцати от Шидловской.

Где-то вдали еще идет сражение. Мы равнодушны сейчас ко всему, ибо немецкий таран, шидловская трагедия и несколько часов, проведенных нами в бою, отняли у нас всякое чувство и понятие о чужих страданиях, хотя бы и наших товарищей.

Мы отдыхаем. Лежим на траве. Вокруг нас — густой сосновый лес. Мы наслаждаемся покоем и природой. Громанюк валяется брюхом кверху на зеленой лужайке и, нахмурив брови, пристально смотрит на свою поднятую кверху коленку и ковыряет на штанах дыру. Ахмет, прислонившись спиной к дереву, закрыл глаза, мурлычет себе под нос какую-то песню или молитву, у которой, похоже, нет ни начала ни конца.

Я, развалившись на траве, смотрю на небо. Латыш спит. Андрюшка, лежа на брюхе, заинтересовался муравьем, который нес какую-то былинку.

— Вот, чорт, какой сильный!

А Егор, подперев рукой щеку, жует травинку и в перерывах между этим «занятием» старается попасть плевком в гнилой пенек.

Нам хорошо. Мы улыбаемся. У всех радостные лица и великолепное настроение. Нам хорошо, но воспаленные глаза, трясущиеся руки и ноги, страшная пустота в желудках — все это без слов говорит, что мы страшно устали, измучены и до одуренья хотим есть и спать.

Шарагин бросил своего муравья, переобулся, оправил гимнастерку и лениво улыбнулся:

— Ну, айда до кашевара.

— Правильно! Вставай давай!

Мимо разбитых парков и гомонящей толпы солдатни кое-как добрались до обоза и разыскали кухню.

— Кашевары! Давай жрать!

Рябой кашевар Маврушин — толстый и ленивый, как и все кашевары, взгромоздился на передок походной кухни, отбросил с котла крышку и зачерпнул нам полное ведро пшенной кашицы.

— Держи.

Взяв кашицу, мы отходим немного в сторону, рассаживаемся вокруг ведра в кружок, вынимаем из-за голенищ ложки и, фыркая и обжигаясь, минут за десять опоражниваем все ведро.

Сразу переменилось настроение!

Ахмет, выскабливая ложкой бока и дно ведра, жмурится от удовольствия, щелкает языком и хвалит:

— А-яй, Мавруш! Больно, бит, хорош твой кашка, да больно наливал маленький чашка...

Кашевар смеется.

— Еще, что ли?

— Добавь, Маврушин!

Ахмет принес еще с полведра кашицы и полбуханки хлеба. И это съели. Наелись, идем курить. Потом выбираем хорошие местечки, расстилаем на земле шинели и ложимся спать.

Эх! Спать бы, спать — не просыпаясь, спать без конца, без краю...

Но на фронте мы были лишены и этого удовольствия — поспать. Законы войны и самодурства нашего начальства отнимали у солдата даже сон.

Не помню: час, полчаса или меньше проспал я, как тяжелый удар в бок разбудил меня.

— А?

— Вставай!

Вскакиваю. Предо мной штабс-капитан Годовицын. Пьяный, едва на ногах стоит. Вокруг наши ребята. Они что-то бормочут, переминаются с ноги на ногу, виновато оправляют гимнастерки.

А Годовицын, покачиваясь из стороны в сторону, машет руками и кричит, пересыпая свои слова отборнейшей матершиной:

— А-а-а! Вот где вы!.. Ага! Вы что наделали? Где пулеметы?

Я наконец понимаю, в чем дело, и пытаюсь объяснить:

— Мы, вашебродье, их в землю зарыли.

— Малчать!

Я опять пытаюсь объяснить — как было дело, но Годовицын вместо ответа щелкнул меня по зубам.

— За что, ваше благородие?

— М-малчать! Га! Ты что, оправдываться? Плевать! Для меня вас бы всех перебили — плевать! А раз остались в живых, пулеметы должны быть здесь!

— А как же их, ваше благородие, теперь достать-то?

Годовицын покосился на Шарагина, икнул, потрогал рукой свой кадык и, убедившись, что он еще на месте, заревел, обдавая нас запахом спирта.

— Ка-а-ак! У немчуры из глотки вырвите. Поняли? А то под суд, в штрафной батальон, на каторгу сошлю, сукиных сынов!

Покачиваясь и матерясь, Годовицын повернулся и, звеня шпорами, ушел.

Мы смотрим ему вслед, качаем головами:

— А-яй, собачка! Поискать такую...

Злые, мы сидим всей «компанией» в лесочке и думаем.

Долго думаем, без перерыва глотая махорочный дым, боясь даже взглянуть друг на друга.

— Ну как, ребята?

Вздохнули только.

— А?

Опять промолчали. Наконец Шарагин встал, взял в руки винтовку и, сжимая ее, зловеще прошептал:

— Ну, ребята! Я этому гаду... Вот по этих пор штык засажу...

Метнули медный пятак: «орлу» итти, «решке» оставаться.

Жребий пал на троих: на меня, Шарагина и Латыша.

Когда свечерело, начали собираться: взяли с собой по две гранаты, винтовки, саперные лопатки и попрощались.

— Ну, ребята, может, не увидимся больше...

— Прощайте! Счастливый путь...

Пошли обратно под Шидловскую. Идем наугад. Ни тропинки, ни дороги. Темно — хоть в глаза коли. Весенняя ночь. Тихо. Тепло.

К полуночи добрались до Шидловской. Разыскали свои позиции, нашли окопы, сели совещаться.

Сидим, а рядом, в полуверсте, не более, слышно: фыркают кони, звякают подковы, разговаривают люди...

— Немцы!

— Тише...

Легли, притаились, ждем. Немцы, очевидно — разъезд, проехали.

Разошлись и мы в разные стороны. Ползаем, лазаем, щупаем каждый бугорок, каждую кочку...

— Ребята!

Никого. Кашлянул — ни звука. В темноте натолкнулись на чей-то труп. Ощупал его — и отшатнулся от ужаса:

— Буренов! Ага, значит где-нибудь здесь...

От Буренова уже начало пахнуть. Трупный запах, тонкий, острый и противный, лезет в нос, вызывает тошноту, изжогу...

Еще час-другой — рассветет и поиски будут напрасны: нас заметят немцы и или подстрелят, или заберут в плен.

Встал на четвереньки и пополз в левую сторону, вспомнил, что во время боя Буренов был от нас вправо. Значит, пулеметы должны быть в левой стороне.

Натолкнулся на какой-то бугор. Встаю на колени, снимаю с ремня «саперку» и начинаю копать. Лопата ударилась о железо. Легкий звяк. Еще проворнее начинаю работать лопаткой.

— Ребята! Ребята...

Никого. Что делать? Решился на последнее: вложил в рот два пальца, свистнул. Ни звука. Еще раз свистнул. В кустах что-то захрустело. Приготовил на всякий случай гранаты.

— Кто?

— Я! Нашел, что ли?

Шарагин подполз. Вдвоем мы вынимаем один пулемет и продолжаем откапывать остальные. Вскоре подоспел Латыш. Тихо, на скорую руку вынимаем последние пулеметы.

— Ну, пошли?

— Стой, ребята! — вспомнил я. — Буренов здесь! Подошли к Буренову. Осторожно поднимаем

окоченевшее тело своего командира, тихо опускаем его в яму и снимаем шапки.

— Спи, дорогой Андрей Лександрович...

Буренов зарыт. Мы еще раз мысленно прощаемся со своим командиром и, взвалив на спины пулеметы, осторожно уходим обратно.

. . . . . .

Утро. Возвращаемся в свои окопы. Здесь нас встретил Годовицын.

— Ого! С пулеметами?

— Так точно, ваше благородие.

— Молодцы, молодцы! Спасибо за службу. Да-с! Не ожидал. Сегодня же отдам рапорт о вашем подвиге.

Мы понимаем, что Годовицын рад подать рапорт, чтобы получить Георгия себе.

В эту минуту любой из нас готов был вдребезги избить Годовицына.

Но мы, уставшие, измученные, стоим перед Годовицыным навытяжку, однотонно долбим:

— Так точно!

— Рады стараться!

— Слушаемся, ваше благородие!

13

Обещание Годовицына сбылось.

Недели через полторы, кажется, по дивизии был отдан приказ:

«За беззаветную храбрость в сражении под ст. Шидловская, проявленную пулеметчиками 2-й роты 21-го Сибирского ее величества Стрелкового полка, наградить командира роты штабс-капитана Годовицына серебряным георгиевским крестом 1-й степени».

Далее в приказе говорилось о нашем награждении.

С тех пор мы стали полными «Егорьевскими кавалерами».

. . . . . .

Прошла еще неделя. И однажды ночью, идя в наступление, Андрей Шарагин, не сговариваясь, пустил Годовицыну две пули в затылок...

А Егор Бураков — уже мертвому, по «пути» — разбил Годовицыну голову прикладом. Разбил и похвалился:

— Вот тебе, бес бритолобый!

И больше ни слова. Молчок. Ни гу-гу...

14

Зимой 1916 года наша «компания» завела себе лошадь.

Это был гнедо-карий меринок, на тонких высоких ногах, с широкой грудью и с длинной волнистой гривой.

Нашли мы его брошенным какими-то солдатами в одной польской деревушке. Была зима. Дул буран. Мы отступали. По пути остановились в этой деревушке и первым долгом рассыпались по халупам в поисках чего-нибудь съестного.

Войдя в один двор, мы увидели привязанную к забору лошадь, которую чуть не по брюхо занесло снегом.

Заинтересовались, окликнули. Лошадь оглянулась, мотнула головой и тихо заржала.

— Что, коняша, замерзла?

Мы пожалели лошадь, отвязали ее от забора, пустили во двор и пошли по своим делам. Но не успели мы отойти до переулка, как вслед нам по-

слышалось звонкое ржание. Оглянулись. По улице, путаясь в поводу, за нами шла лошадь.

— О! Вот, чорт, как ученая!

Лошадь подошла к Буракову и почесала об его плечо свою морду. Нас тронуло это. Мы окружили ее, начали гладить. Егор потрепал ее по шее и стал выбивать из густой гривы снег, приговаривая:

— Что, задул тебя буран-то, а? Ах, буран, буран, что он наделал, а? А ты стой, как тебя, дай почищу маненько...

Лошадь стояла около Егора, мотая головой и прядая ушами, и так смотрела на него, словно сказать чего хотела.

Кто-то из нас внес предложение: взять лошадь с собой. Предложение понравилось. Тогда Шарагин взял в руки повод и пригласил коня:

— Айда, скотина! Воевать вместе будем.

— Ну, скотина! — обиделся Бураков. — Чай, у нее имя какое-нибудь есть.

— Имя? У-у, дурила с Волги! Ты что, на крестинах, что ли, был у нее?

— Сам дурила! — огрызнулся Егор. — А что? А какая лошадь без имя бывает? Никакая. А нет — дать надо.

— Верно, Егор! Как назовем?

— «Карько»!

— Ну, «Карько»! Что, в деревне, что ли? Она, брат, видно сразу, не из простых: из кавалерии наверно!

— Да-а. А как, ребята?

Шарагин все подтрунивал над Бураковым:

— Давайте крестить мерина, а? Егор за кума будет!

— Брось, Андрей, — остановил его Громанюк. —

Крестить — не крестить, а назовем его «Бураном». В буране мы его, в пурге нашли, пусть и будет — «Буран».

Так и назвали свою находку «Бураном».

Хорошее имя. Но, по правде сказать, ничего похожего на буран в нашем мерине не было. Это была не лошадь, а, как говорят, «шкилетина» дохлая. Облезлая кожа, крупные мосла и маклаки, почти обнаженные ребра и умная, с большими серыми глазами морда — таков был наш «Буран».

Но дареному коню, говорят, в зубы не глядят, и мы, главным образом Бураков, оказавшийся страстным любителем лошадей, с чисто материнской нежностью стали ухаживать за «Бураном»: ежедневно чистили его, смазывали потертые места дегтем, таскали из обоза остатки солдатских обедов, кормили и поили своего «приемыша» доотвала.

Лошадь стала поправляться. Не прошло и месяца, как у «Бурана» зажили раны, словно бархатная шубка залоснилась шерсть. «Буран» повеселел и в благодарность за наш уход привязался к нам, как ребенок.

Он узнавал Буракова по голосу, и стоило ему бывало крикнуть: «Буран»!, как тот бежал к нему с ласковым ржаньем и, скаля зубы, терся об его плечо, ожидая кусочка хлеба или сахара.

Заодно «Буран» привязался и к нам, и наши ребята от души полюбили коня. А потом мы и представить себе не могли: как это до сих пор наша «компания» могла жить без «Бурана»?

Мы ездили, когда стояли в резерве или на отдыхе, на своем «Буране» в гости; возили на нем свои пулеметы, делали переходы, и не мало было слу-

чаев, когда мы спасались от смерти только благодаря «Бурану».

И вот этого друга, этого спутника наших бед и страданий, этого верного товарища окопной жизни нам пришлось пристрелить.

15

Когда началось общее отступление по всему фронту, наша «компания» пулеметчиков отступала на какой-то двуколке.

Шарагин правил. Двое ребят сидели на козлах, двое — на задке, остальные по бокам и на дне двуколки, придерживая руками дрыгающие пулеметы.

В двуколку был запряжен наш любимец «Буран», и мы, которые в другое время ни за что бы не позволили себе пальцем тронуть своего «Бурана», теперь «жарим» его в четыре кнута и орем:

— Э-гей! «Буранушка»! Не выдавай, «Буран»! Голубчик наш, не выдавай!

«Буран», будто понимая нашу беду, распластался в одну линию, заложил назад уши и, скаля зубы и обливаясь потом, скакал во весь опор.

Мы гоним, бьем, орем на «Бурана», а у самих одна мысль:

— Задохнется! Загоним коня...

Но «Буран» не сдает, скачет, храпит только да сбрасывает на землю кровавую пену из носа.

Так скачем день, ночь, сутки... На вторые, спустившись галопом в овраг, «Буран» каким-то чудом на полном скаку вывез двуколку на гору и со всех ног грохнулся на землю.

— Стой!

Выпрыгнули из двуколки, оправились.

— «Буран», «Буранушка»!

«Буран» умирал. Вздуваются и опадают у «Бурана» бока. Изо рта течет алая струйка крови, вся морда мерина покрыта розовой, точно облачко на заре, пеной. «Буран» храпит, сучит ногами, тычется окровавленной мордой в пыль, бьется в последних судорогах...

— Выпрягай!

Моментально обрезали постромки, сняли хомут, хотим поднять «Бурана» на ноги. Но «Буран» только храпит, бьется да смотрит на нас своими умными серыми глазами.

Мимо нас скачет артиллерия, рысит конница, проносятся фуры, двуколки, повозки, ползут раненые... Солдаты что-то кричат нам, машут руками...

— «Буран»! Вставай! Но-о! Да что ты, милый...

«Буран» не вставал. Оставаться около него не было никакого смысла, и мы, поймав какую-то бежавшую порожнюю лошадь, прыгнули в повозку и поехали дальше.

— Прощай, «Буранушка»! Золотенький наш, прощай!

А «Буран», словно чувствуя, что его бросают, что он остается один, собрал свои последние силы, приподнялся с земли, сел как-то по-собачьи, на зад, оскалил зубы и заржал. Заржал дико, пронзительно и снова грохнулся на землю, дрыгая ногами и тычась мордой в пыль.

16

Поздно ночью остановились на отдых. Расположились в каких-то кустах. Сидим около костра. Идет дождь. Молчим. Говорить не хочется. Да и

не о чем было говорить. Мы прошли сегодня семьдесят шесть верст, устали, проголодались, промокли и теперь даже не можем высушить свою одежду и как следует поспать.

Сидим, накрывшись шинелями, слушаем, как шипят на костре сучья, как по нашим головам барабанят крупные капли дождя.

Ночь. Ветер. Холодно. Клонит ко сну...

Вдруг в кустах послышался шорох. Кто-то шел к нам, грузно шлепая по лужам и ломая кустарник.

Вздрогнули. Вскочили на ноги. Шарагин рванул из-за ремня гранату:

— Стой! Кто идет?

Храп. Из кустов, в освещенном костром пространстве показалась мокрая лошадиная голова.

— «Буран»!

— Да милый наш «Буранушка» пришел...

Да, это был «Буран». Он мотнул головой, тонко, словно маленький жеребеночек, заржал, шагнул шага два-три вперед, покачнулся и грузно грохнулся на землю.

Мы схватили из костра горящие головешки и побежали к лошади. Осветили. Живот Бурана был разорван осколком снаряда. Из раны—она была еще свежая—сочилась кровь, вываливались кишки... Белые и синие, они, видимо, волочились за ним по земле, когда он шел к нам.

Нам стало жутко от этого зрелища, и мы поспешили отвернуться. А Бураков, которого так любил «Буран», не выдержал, упал рядом с «Бураном» на землю, обнял лошадиную морду руками, прильнул к ней лицом и завыл:

— «Буранушка»! Хороший мой...

«Буран» повернул к Егору свою морду, брык-

нулся ногами, хотел, очевидно, встать, но только заржал и опять упал на бок, и из его глаз, смотревших на нас с таким, прямо человеческим страданием, закапали слезы и медленно-медленно покатились по мокрой морде на землю.

Лошадь плакала. А мы стояли около нее и не знали, что делать.

— Ребята! — кричал Бураков. — Да что это такое? Да пристрелите хоть его, ребята! Пристрелите!

Андрюшка Шарагин схватил винтовку; она заплясала в его руках, словно живая.

— Андрюша, скорее, скорее...

Шарагин взвел курок, подошел к «Бурану» прицелился и...

— Нет! Не могу-у-у!

А «Буран» продолжал мучиться.

Тогда Латыш взял у него винтовку, проверил затвор, приставил дуло к уху Бурана и нажал курок.

Грянул выстрел. «Буран» экнул, захрапел, повалился на землю. По его мокрому телу пробежала мелкая дрожь. Латыш высморкался, снял фуражку.

Мы молчали. Шумел дождь. Где-то гремел гром. Шипели, извиваясь на костре, сучья. Около наших ног лежало мертвое тело нашего друга и товарища по несчастью — «Бурана».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Осень. Мерзло. Над рекою ночь. На небе ни звездочки. В окопах темно и сыро, как в могиле. Жутко. Пахнет землей, гнилью.

Наша рота стоит под Ново-Червищем, на берегу Стохода. Впереди нас от самой реки слышится тихое позвякивание лопат и кирок: это саперы роют окопы. Позади погромыхивает артиллерия, пробирающаяся на свои позиции. Слышно, как ругаются «ездовые» и «номера». Кругом ночь, бездорожье, топи. Лошади по самое брюхо проваливаются в жидкую болотную грязь.

— На помощь!

— Эй, сюда! На помощь!

Идем помогать. Целыми взводами впрягаемся в постромки, цепляемся за колеса, подталкиваем под лафеты и с трудом выволакиваем орудия на сухое место.

— Трогай!

— Н-но, голубушки!

Артиллерия ковыляет дальше. Проводив ее, возвращаемся на свои места к пулеметам, закуриваем и тихо разговариваем.

На утро ждем боя. Вчера был получен приказ:

— В случае подхода неприятеля к Стоходу — дать сражение. Не отступать. Любой ценой задержать врага на берегах Стохода. В случае успеха форсировать Стоход, перейти в контрнаступление.

Впереди Стоход и немцы, позади — болота, по бокам тоже болота. Перед нами задача:

— Умереть или отбросить врага!

Немцев пока нет. Но наша разведка сообщила, что они только что заняли Ратно, разбили нашу пехоту под Камень-Каширским и под утро должны быть на Стоходе.

Ждем наступления. А пока что сидим в окопах, проверяем, чистим пулеметы и «по пути» уничтожаем неприкосновенный «боевой» запас: банку мясных консервов со «святым духом», а проще — испорченные, и сухари.

Рады бы не есть этот «запас», но больше у нас нет никакой пищи. Вот уже вторую неделю нас кормят одной чечевицей и горохом. Голодно. А последние сутки нам не доставили даже гороху: обозы и кухни где-то застряли, и мы второй день сидим полуголодные.

Вместо Буренова у нас другой командир — Николай Иванович Коваленко: молодой, двадцатичетырехлетний прапорщик, полный «Егорьевский кавалер», заслуживший в боях все четыре степени серебряных георгиевских крестов.

2

Проходит ночь. Небо становится серее. По восточному краю горизонта кто-то, словно неумелый маляр, мазнул краской, чуть-чуть задев краешек облаков. Тихо. В утренней полумгле ясно видна

серо-свинцовая лента Стохода. Белеет мост. Чернеет между кочками дорога.

Начинался день. По небу брызнули солнечные лучи. Сотнями огоньков заиграла река; засверкали омытые росой кустарники, вдали над Пинскими болотами клубились туманы. Подул ветерок, подергивая воды Стохода мелкой рябью...

— Бум! Бах!

В воздухе разорвались белые шары. Легкий свист, грохот, взрыв — и на берегах Стохода поднимаются зловещие столбы земли.

— Эх, чорт! Здорово...

Часам к семи утра орудийная канонада с нашей стороны стала реже и, наконец, прекратилась совсем. Наступила томительная тишина.

Проходит полчаса, час. Тишина становится невыносимой, она начинает действовать на нервы хуже чем бомбардировка.

— Идут!—крикнул Коваленко, отрываясь от бинокля.

На левый берег, точно волна на песок, выкатилась цепь немецкой пехоты. Следом за ней — вторая, третья... Вскоре весь берег был усыпан неприятелем. Немцы шли в атаку. На фоне неба, лугов и лесочка тонкими иглами поблескивали штыки. Мутно-зелеными пятнами выделялись шинели. Черные стальные каски сливались в сплошной массив, фигуры солдат казались безголовыми...

Мы несколько раз пытаемся открыть огонь, но Коваленко категорически запретил нам стрелять без команды.

— Ждите! Надо бить без промаха!

Ждать пришлось недолго. Встреченные редким недружным огнем нашей пехоты, немцы подтяну-

лись к берегу и под обстрелом начали переходить Стоход.

— Огонь!

— Есть огонь!

Мы открыли по Стоходу бешеный перекрестный огонь. Частая чечотка наших пулеметов не умолкала ни на одну секунду.

Наступление было отбито. Немцы отошли за Стоход к лесочку. Тогда по склонам правого берега из окопов выкатилась наша пехота.

— Ура! Ур-ра-а! — кричала серошинельная масса людей и, подняв над головами винтовки, с разбега бултыхались в воду, плыли, мокрые карабкались на левый берег, окапывались там и открывали ружейный огонь.

— Дураки! — ругался Коваленко. — Куда пошли? Куда погнали вас, бараны!..

И верно. Стой наша пехота на правом берегу, поддерживай ее артиллерия и наши пулеметы — позиции Стохода были бы неприступны для врага. Получилось наоборот. Наше командование, увидя, что немцы отступили, отдало приказ:

— Форсировать Стоход. Перейти в наступление.

И это явилось причиной нашего разгрома на Стоходе.

Получилось что-то непонятное. На помощь пехоте двинули подкрепление. И вот, в то время, как с левого берега бежала разбитая пехота, с правого шли свежие войска, и вся эта многотысячная масса солдатни сошлась на Стоходе.

Головотяпство русского командования, думавшего штыком и грудью солдата выиграть сражение, сделало свое дело: около шести тысяч раненых и убитых нашли себе жуткую могилу в воде и на берегах Стохода.

3

Осень 1916 года. День 21-го октября. Торжественный праздник восшествия на престол царя Николая II.

В этот день в России гудела колокольная медь; разноцветными огнями сияли церкви; мигали свечи; басили дьяконы, попы:

— Государя и императора-а-а нашего-о-о-о!

Но это было там, в России.

А здесь?

Осень, холод, тьма и ночь. С неба сыплется мокрый снег. Под ногами — вода, слякоть. Пронизывающий ветер — злой, резкий, валом накатывается на окопы, валит с ног человека, забирается за шиворот, лезет под шинели...

Наша «компания» стоит в «секрете». Знобит. Мы кутаемся в башлыки, топчемся на месте, толкаем друг друга, играем в «кота», но ничего не помогает: нам холодно, мы дрожим.

Где-то недалеко от нас разорвался снаряд. Крики, стоны... Опять тишина. Мы еще плотнее прижимаемся к стенкам окопа, ниже нагибаем головы и думаем: «Ну, сейчас наша очередь...»

Подходит полночь. Мы устали. Тело налилось какой-то свинцовой тяжестью. Немеют ноги. Слипаются глаза. Озябшие руки не держат винтовок. Хочется спать. Но спать нам нельзя: мы находимся на первой линии фронта, и нам надо дождаться смены. Ее нет. И мы из души в душу ругаем все: начальство, погоду, товарищей, всех.

Наконец вдали послышался разговор, зачавкала грязь. Это смена. Подошла. Разводящий принимает от нас «секрет». Мы молча меняемся с пришедшими местами и уходим.

В темноте кое-как мы добрались до своих окопов, залезли в блиндаж. Здесь потеплее. Но и тут нам не удается устроиться как следует. На полу блиндажа вода. Мы ложимся, как были, в мокрых шинелях и сапогах на грязную солому и минут через пять по блиндажу уже несся дружный храп.

. . . . . .

Просыпаюсь. В блиндаже крик, шум. Кто-то пинает меня сапогом в бок. Очухался, слышу голос Шарагина.

— Иван, вставай! Вставай скорее!

— Зачем? Чего?

— Наступление!

Сна как не бывало. Вскакиваю. Чувствую: екнуло в груди, чаще забилось сердце, пот прошиб... Зачем-то ползаю по земле и дрожащими руками чего-то шарю в соломе.

Выходим на волю. Кругом темно. Ни выстрела, ни звука. С трудом различая в конце окопа группу солдат, направляемся к ним. Подходим. Среди солдат стоит наш новый ротный командир Пигузов и, размахивая руками, говорит частым прерывающимся шопотом:

— Ребята! Вот что. Завтра — торжественный праздник: день восшествия на престол государя императора. Давайте вдарим по германцу в штыковую. Вдарим! Хе-хе-хе-с! Вдарим с перцем, напролом, в штыки, напором р-раз! — и крышка. Накроем их, колбасников, сшибем с позиций, а завтра и праздничек можно будет встретить.

Пигузов хихикнул и замахал руками:

— В бой пойдем со мной. А меня вы знаете. Ну, вот. Мы не одни пойдем. А немцы... У них лазутчики были. Говорят, что они даже не ждут нас.

Словно молоденький петушок на забор, Пигузов выскочил на бруствер окопа, выхватил свою саблю и скомандовал:

— За мной!

Вылезли. На бруствере стоит наш «отец» Макарий. Ветер растрепал у старика бороду и волосы, раздул парусом рясу. В одной руке у «бати» шапчонка серая солдатская, в другой — распятие. Он благословляет нас на подвиг ратный большим медным крестом и сыплет своим беззубым ртом слова утешения и спасения солдатских душ:

— Во имя отца и сына и святого...

Пигузов перекрестился, надел фуражку и скомандовал:

— Вперед!

Сомкнутым строем мы пошли в ночное наступление. Вперед нас уже были посланы саперы и подрывная рота для прорыва неприятельских проволочных заграждений. Мы же должны были решить задачу самого боя.

Прошли версты четыре. Вдруг позади нас раздался одинокий орудийный выстрел — сигнал к атаке. Вслед за выстрелом в воздух взлетела ракета. За ней — вторая, третья... Все небо озарилось фантастическим заревом бенгальских огней, и в этих огнях, в полуверсте от нас появились черные силуэты немецких окопов.

— Бего-о-ом!

Быстро берем винтовки «на-руку», ускоряем шаг, бежим. Грянуло «ура», и взревела ночь, раскинулось по полю эхо тысячеголосое, дрогнула земля и, как будто, небо раскололось от крика:

— Ур-ра-а-а!

Путь перед нами свободен. Проволочные заграждения изрезаны, прорваны, смяты. Сплошной

стеной мы обрушились на немецкие окопы, закидали их гранатами и бросились в штыки.

— Ура-а-а!

Страшным неожиданным ударом мы заняли первую линию неприятельских окопов, перебили и перекололи сидевших в них немецких солдат и, устилая свой путь мертвецами, двинулись дальше.

Я бежал вместе с другими, не чувствуя под собой земли, бешено стиснув зубы и винтовку, не видя ни врагов, ни своих товарищей...

— Иван!

Оглядываюсь — около меня Бураков.

— Живой еще?

— Живой! А ты?

— Эге! Айда! Убьют, так вместе...

Побежали рядом.

Вторая линия немецких окопов встретила нас сильным заградительным огнем пулеметов. Наши цепи стали редеть. Но нас уже нельзя было остановить. С диким ревом, с криками «ура» мы ломились напролом, уничтожая укрепления, окопы, людей...

— Ого-о-й!

Вбежав на бруствер, мы бросили куда-то по гранате, обождали, пока они разорвутся, и вместе с другими спрыгнули в траншею.

И тут случилось что-то такое, что я и сам не помню.

Но это случилось.

Я бежал вслед за Бураковым вдоль разрушенного нами окопа. Под ноги попадались мертвые. Было темно. И вот из-за какого-то углубления окопа выбежал немецкий солдат.

— А-а! — крикнул Егор и побежал за немцем. Тот, спасаясь, прыгнул было на бруствер, хотел

вылезть наверх, но сорвался и беспомощно повис на краю окопа.

В пять-шесть прыжков Егор догнал немца, размахнулся, подался вперед и всадил в тело солдата штык. Охнув, немец обрушился вниз, задел при падении Буракова, смял его, и оба они покатились по дну окопа.

Удар Буракова для немца был, видимо, несмертельный: он приподнялся с земли, вцепился в Егора и, рыча, старался нанести удар.

Силы были неравные. Егор встал на ноги, схватил свою винтовку и ударил немца по голове прикладом.

В это время над нами вспыхнула парашютная ракета и, рассыпавшись, заливая своим бледно-матовым светом окопы, начала спускаться.

Егор поднялся с земли и, заглянув в лицо убитого им немца, пошатнулся, растопырил руки, шагнул шага два-три ко мне и страшно прохрипел:

— В-ван-ня... Ганс!

Перед нами, с раскроенным черепом, весь облитый кровью, лежал наш «пленный», наш друг и товарищ по войне—Ганс.

Егор катался около Ганса по земле и ухал:

— У-ух! Ох! Ганс! Ребята!

4

Утром, когда оставшиеся в живых солдаты вернулись в свои окопы, Егор Бураков стукался, как баран, головой об стенку или тихонько, покачиваясь из стороны в сторону, закрыв лицо руками, стонал.

Мы как могли утешали его.

— Брось, Егор, брось, милый... Ведь ты не знал, что это — Ганс.

— Уй-ди-те!—застонал Егор и повалился на солому, приподнялся, обвел нас мутным взглядом.— О-о, гады! Хватит! Я им душу выну! Выну! Ха-ха-ха!

И опять упал на солому, дико хохоча и ковыряя ногтями мерзлую землю.

...Часов в десять утра в окопы пришло, во главе с Нелькиным, полковое начальство поздравлять нас с праздником.

Вошли в наш блиндаж.

— С праздничком, братцы!

Мы вскочили, встали во фронт и рявкнули:

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!

После этого Нелькин подходил к каждому из нас, подавал по чарке водки, приговаривая:

— За здоровье государя императора!

Очередь дошла до Егора. Он лежал в это время на соломе и даже не пошевелился, даже глазом не взглянул на полковника.

Нелькин налил чарку:

— Ну-ка, солдатик, за здоровье государя.

Бураков встал и, сжав кулаки, подался к Нелькину.

Мы было подбежали к Буракову, хотели остановить, но было поздно.

Егор всхлипнул, захлебнулся, выпрямился, ахнул и словно гирей двинул Нелькина кулаком по переносью.

Полковник, даже не охнув, грузно упал на землю. На Буракова набросились офицеры из свиты Нелькина, но он раскидал их по блиндажу, вырвался и страшный, весь облитый кровью, подбе-

жал к пирамиде с оружием, выхватил винтовку, вскинул ее на руку, перекрестился, и не успели мы глазом моргнуть, бросился на Нелькина и с разбега всадил ему в брюхо штык.

Заскрежетала, разрывая человечью кожу, граненая сталь штыка. Брызнула кровь. А Егор рванул винтовку назад, вынул из раны штык, размахнулся и опять всадил его в полковника.

Убедившись, что полковник уже мертв, Егор отбросил в сторону винтовку, поднял кверху руки и тихонько улыбнулся:

— Вот! Теперь берите...

Офицеры сшибли его с ног, связали. Егор не сопротивлялся. И пиная сапогами и ударяя ножнами шашек, потащили нашего друга из блиндажа.

5

Егор был предан военно-полевому суду. Суд был скорый и милостивый. Приговор гласил:

Рядового пулеметчика 21-го Сибирского ее величества стрелкового полка Егора Буракова приговорить к расстрелу перед строем своего полка.

. . . . . .

Был полдень. Мы только что пообедали и не успели еще отдохнуть и закурить после обеда, как десятки барабанов прогремели тревогу, и минут через десять весь полк был выстроен в походную колонну и его марш-маршем погнали за деревню, к небольшому лесочку, на опушке которого были видны еще свежие братские могилы и торчали новенькие деревянные кресты.

На кладбище шла работа. Взвод саперов, окруженный офицерским конвоем, рыл новую могилу.

На место казни прибыл генерал Скрементов. Он прогарцовал вдоль строя на вороном коне, потом соскочил с седла, обошел кругом могилы, посмотрел в нее и встал около столба, попыхивая папироской и небрежно сбрасывая в могилу табачный пепел.

Застыли солдаты. Стоим, ждем. Ждем долго, мучительно долго. Наконец послышался общий вздох и редкие голоса.

— Ведут, ведут!

К кладбищу под усиленным конвоем вели Буракова. Егор шел тихо, опустив на грудь свою голову и заложив за спину руки. Когда его проводили мимо нас, он поднял голову, посмотрел на нас и тихо улыбнулся.

Конвойные поставили Егора на краю могилы.

— Смирно! Полк, три шага вперед-арш!

Шагнули. И так стояли мы друг против друга: Егор—прощаясь со своей жизнью, а мы—со своим товарищем.

Кругом стояла тишина. И вдруг, разрывая эту тишину, по кладбищу разнеслась громкая дробь барабанов. Еще раз дрогнули ряды полка. Дрогнули и застыли.

Перед строем вышел генерал Скрементов. Он потоптался на одном месте, оправил на себе шинель и густо пробасил:

— Справа на десять номеров — рассчитайсь!

По строю с правого фланга пошла перекличка:

— Первый! Второй! Третий!

Очередь доходила до меня. Рядом со мной голоса:

— Восьмой! Девятый!

— Д-де-ся-я-тый! — крикнул я и как-то сразу холодно и жарко стало.

Скрементов подошел ближе.

— Десятые номера, три шага вперед-арш!

Шагнули десятые. Вышло человек сорок. Нас выстроили в особую колонну и поставили против Егора Буракова.

Егор стоял на краю своей могилы, широко раскрыв глаза, не моргая, смотрел на нас. Видно было, как у него чуть дрожало одно колено.

К Буракову подошел «отец» Макарий с распятием, он хотел благословить его, сказать ему «напутственное» слово, что «сам он умрет, а душа его незримо поднимется по лестнице на небеса, в обитель райскую», но Егор отвернулся от священника и тихо сказал:

— Уйди, батюшка...

Батюшка пожал плечами и смущенно отошел в сторону.

— Взво-од!..

Мы вскинули винтовки.

В это время позади нас послышался тихий голос:

— Ребята! В кого стреляете?

Скрементов взмахнул саблей.

— Пли!!!

И не раздалось ни выстрела, ни залпа. Наш ряд молчал. Только видно было, как прыгали в дрожащих руках винтовки да тяжело, с хрипом дышали солдаты.

Забегало, засуетилось наше начальство. Громанюка тут же увели. Скрементов в расстегнутой шинели, без шапки, с наганом в одной руке и с карабином в другой, бегал в солдатском кругу и кричал:

— Стой! Ни с места! Стой! Весь полк под пулеметы положу!

Оглянулись. Кругом из-за каждого пригорка на нас смотрели тупые пулеметные рыльца. Около пулеметов, заправляя в них ленты с патронами,— офицеры.

— Огонь! — крикнул Скрементов. — Огонь!

Офицеры дали первый залп по воздуху.

Бураков не выдержал, разорвал на своей груди гимнастерку и крикнул:

— Ребята! Эх! Все равно... Скорее, ребята!..

Мы молчали. Егор заплакал.

И тогда из строя вышел Пигузов, вскинул к плечу винтовку, нажал курок.

Мы услышали выстрел — и... Егор покачнулся, взмахнув руками, рухнул в яму.

— Благодарю, поручик! — козырнул Скрементов.

Я взвыл и, не веря, не соображая, что Егор убит, с трудом стоял в строю.

6

В углу занятого нами немецкого окопа валяется пьяный немецкий офицер. Напился он до чортиков, даже встать не может и, ругаясь по-немецки, корячится в окопе, старается уползти и не может.

Офицер пьян, а соображает, что окопы заняты русскими, что он находится среди врагов, и поэтому, заслышав какой-нибудь шорох, притворяется мертвым: руки, ноги в стороны раскинет, голову как куренок свернет, зубы оскалит и лежит мертвец-мертвецом.

Убедившись, что все в порядке, поднимает голову и хочет встать. Не может. Кубарем катится на землю и лежит, видимо, соображая что-то.

— Ш-шить! — шикнул Андрюшка Шарагин и бросил в офицера комком земли.

Офицер опять притворяется мертвым. Нам интересно. Смеемся. Шарагин грозит нам пальцем и шепчет:

— Постой, ребята, постой. Чего он будет делать дальше?..

Уйти офицеру нельзя: кругом русские. Но слишком, видно, велико у человека чувство самосохранения, слишком велико желание уйти от смерти, остаться в живых...

Офицер ползет... И не знаю, чем бы кончилась эта «комедия», но неожиданно ее «испортил» Ахмет. Он уходил куда-то и теперь, возвращаясь обратно, спрыгнул в окоп и направился к нам.

Немец заметил Ахмета; приподнимаясь на левом локте, навел на него дуло револьвера.

— Иван! — крикнул Шарагин. — За мной!

Я вскочил, схватил свою винтовку и побежал за Андрюшкой.

— Ахмет, берегись, Ахмет!

Ахмет не слышал. Офицер прицелился в него и только было хотел спустить курок, как Андрюшка рявкнул и всадил в офицерскую ягодицу штык.

— А-а! — закричал Андрей. — Вот тебя как, собака!

Узнав, в чем дело, Ахмет стал благодарить своих спасителей и замахнулся на офицера.

— Ага! Сейчас его башка на котелок пойдет!

— Стой, Ахмет, не надо!

Ахмет оставил офицера в покое. Но тот опять схватился за наган. Андрей отнял револьвер, перевернул раненого на бок и спустил с него штаны.

— О, ничего, ребята тебя чуть-чуть только коль-кули. Ничего, сейчас мы тебя заштопаем.

Достал из своей аптечки индивидуальный пакет для перевязок и начал вынимать марлю, бинты, вату...

7

По пути в лазарет мы встретили Латыша. Худой, багрово-синий, с прикушенным языком и заострившимся носом, он лежал на опушке леса. Около него суетился доктор, стояли какие-то офицеры, поп. Четыре солдата саперной роты рыли глубокую яму.

Мы подошли ближе. Один из офицеров подбежал к нам и, размахивая карабином, закричал:

— Назад! Назад...

Пришлось вернуться. Но мельком мы увидели своего друга. Он был без ноги. На шее — веревка из бинта. И сразу острая мысль пролетела в голове: «245-я статья?!»

Дело вышло так. С неделю назад Латыш был положен в полевой лазарет.

Ему назначили операцию. Принесли его в операционную палатку, положили на стол, развязали ногу. Распухшая, сине-багровая, она была страшная.

Доктор взял со столика блестящий ланцет и склонился над ногой. Нажал. Латыш застонал, но тотчас же стиснул зубы и страшным усилием воли подавил в себе невыносимую боль.

— Что у тебя с ногой?

— Не знаю, доктор. Заболела и заболела...

— Гм. Ну-ка, посмотрим...

Спокойным, привычным движением руки доктор

чиркнул лезвием операционного ножа на ноге — от колена до ступни.

— Больно?

— Нет, доктор.

Тогда врач сделал еще два-три надреза. Брызнула кровь. Потек гной... И все — мясо, ткани, кожа на ноге Латыша разлетелись на мелкие клочья. Обнажилась кость. Запахло гнилью...

— Что за чорт! — испугался доктор. — Что за болезнь? В первый раз за всю войну встречаю такую вещь.

Копаясь в лоскутьях мяса, доктор быстро нагнулся, встал на колени, наклонился, потом схватил пинцетом какую-то серую жилку, вытащил ее и несколько минут разглядывал.

— Что такое?

Латыш спокойно поежился.

— Что? Сами видите...

Было понятно без слов. Перед лицом доктора, зажатая пинцетом, зеленая от гноя, болталась толстая суровая нитка.

Врач брезгливо понюхал ее, поморщился:

— Что такое? Почему керосином пахнет, а?

Латыш горько усмехнулся:

— Доктор, неужели не поймете?..

Доктор бросил нитку в таз, плюнул, вымыл руки, подошел к Латышу.

— Ну, чего добился, а?

— А что?

— Двести сорок пятую статью.

Двести сорок пятая статья...

Солдаты! Кому из нас была не знакома 245-я статья, карающая за умышленное членовредительство каторгой и даже смертной казнью?

Много «номеров» выкидывали некоторые сол-

даты по части членовредительства. Но рекорд в этом отношении побил член нашей «компании» пулеметчик Латыш.

Как-то перед сном, накрываясь своей шинелью, Латыш сообщил нам:

— Ну, ребята, последнюю ночь ночую с вами...

— Как — последнюю?

— Так. Завтра домой уеду. В Латвию.

Слушаешь его бывало, и как наяву перед глазами вставал этот суровый и далекий край.

Бледное северное небо. Холодная, невеселая и штормовая Балтика. Голые песчаные дюны на берегу моря. Сосны с ветвями, растущими только с южной стороны. Скупые поля. И мыза — чистенькая, с красной черепичной крышей.

На мызе строгий хозяин в вязаном жилете, гордая жена хозяина и его хорошенькая дочь, не замечавшая бедного батрака... И среди этих гордых и чужих людей была «она» такая же, как и он, батрачка, здоровая, широкоплечая, с большими сильными руками, девушка.

Сначала она была робкая, застенчивая. Первый поцелуй она подарила ему на сеновале, куда он залез за сеном, а она — собирать по куриным гнездам яйца.

Один только, один поцелуй — и война. Пусть война. Теперь он спокоен за нее. Он знал, что сейчас к ней не смеет подойти ни один из парней Латвии, он знал, что она любит его, а он — ее, и никто на свете не сможет разлучить их.

...Я вижу возлюбленную нашего друга.

Вот она идет по дворику мызы с ведром молока в руках. На ней белоснежный чепец, вязаная шерстяная кофта и такая же юбка.

Правда, кофта и юбка — старые, а чепец из тол-

стого грубого холста, но он выстиран и выглажен не хуже, чем у самой хозяйки мызы, которая ходит в хороших платьях и в батистовом с кружевами чепце.

— Смотри,— говорила она,— не полюби там на войне какую-нибудь русскую... Смотри, милый.

И плакала и грустно улыбалась ему на прощанье.

Наш Латыш провел всю войну незаметно. В бою был спокоен. И там, где другие брали риском, Латыш добивался хладнокровием. За время войны он заслужил четыре серебряных креста, стал «Егорьевским кавалером» и говорил:

— Я сохраню их как память о годах моих страданий. Я сохраню их и, если у меня будут дети, я повешу эти кресты на стену и скажу моим детям: «Смотрите, дети, на страдания вашего отца!»

Латыш не любил много говорить. Больше всего он молчал, покуривая свою трубочку. А если надо было сказать, говорил кратко:

— Я батрак. Кончится война, уеду в свою Латвию, опять батраком буду.

Наш Громанюк два или три раза пробовал заговаривать с ним по-своему. Но Латыш только улыбался и, попыхивая своей трубочкой, спокойно говорил:

— Нет, Максим. Нет. Не мое дело судить об этом. В бою я сохраняю свою жизнь. Я не убью, меня убьют. Я не хочу быть убитым. Я дождусь конца войны и уеду в свою Латвию.

И вот в Выдраннице Латыш сообщил нам:

— Последнюю ночь ночую...

Мы не удивились. Спросили только:

— Бежать хочешь?

— Нет, ребята. Так отпустят...

— Почему?

— А нога у меня...

Несколько месяцев назад Латыш взял суровую нитку, скрутил ее в тоненький жгутик, пропитал его керосином, проткнул парусной иглой в подъеме правой ноги дырочку и вставил в нее, как фитиль, нитку.

Нога распухла. И ни один врач не мог установить причину его болезни. А Латыш только подмигивал:

— Лоб расшибут доктора, а не узнают!

...Минут через пятнадцать нога Латыша была отрезана напрочь. Доктор бросил гнилые куски мяса и кости в таз, вымыл руки и принялся зашивать рану.

— Ну, что, что мне с тобой делать, а? Сообщить? Ведь на каторгу пойдешь.

А Латыш лежал на столе и спокойно говорил:

— Каторга? Ну и что же? Что в ней страшного? Здесь хуже каторги. Судите меня, доктор. Я в вашей воле.

. . . . . .

Латыша судили по 245-й статье за «умышленное членовредительство».

Приговора он не дождался. Ночью он сорвал с ноги бинт, сделал из него петлю, привязал ее к спинке больничной койки и повесился.

8

В окопы пришла почта. Шарагин получил два письма себе и Ахмету.

Сел читать. Поклонов и пожеланий Андрюшке, видимо, прислали верст на двенадцать. С полчаса наверное он читал их и улыбался.

Пришел Ахмет.

— Андрей! Давай, давай скорее...

— Чего?

— Письма, письма мое!

— Пляши, тогда отдам.

Ахмет наверное с полгода не получал из дома писем. Скучал, тревожился... И теперь, видя в руках Шарагина драгоценный конверт, ударил в ладоши и прошелся перед своим другом в пляске.

Сплясав, Ахмет вырвал у Андрея пакет и весь просиял:

— И-эх, ребята! Байрам миня сегодня, праздник.

Присев на корточки, Ахмет начал улыбаясь разрывать конверт. И казалось, от его улыбки в окопе стало как-то светлее. Стал читать. В глазах любопытство, на губах улыбка. Ахмет рад. Но, углубляясь в чтение письма, он постепенно стал меняться в лице: улыбка пропала, в глазах показались слезы.

— Ты что, Ахмет?

Письмо выпало из его рук, а он побледнел, зажал голову, повалился на землю и заревел.

— Ахмет! Ахмет, что с тобой, милай?

Ахмет валяется по земле, воет и тихо просит:

— Иван, давай миня вода... Вода, пожалуйста...

Я налил из фляжки манерку воды. Ахмет пьет, стуча о край манерки зубами, и всхлипывает.

— Ребята! Пропал моя башка теперь...

— Зачем? Чего случилось?

Ахмет только рукой махнул.

— Баба миня в деревне помирал. Двор-та сирота остался. Скотинка-корова была, отбирал яво податной инспектор, недоимка меня бил там. Баба одна бился, бился... Ой! Пропадал моя башка...

Совсем пропал! Зачем я живой теперь оставался? Зачем? Детишка-то мой по миру таперь пошел... Кто подавать-то будет, а? Эх-х! Суфья — маленький, маленький дочь, что она делать-то будет? Ой, несчастный мой башка...

Ахмет плачет. Мы, как можем, утешаем его. Андрей ухаживает за ним, как за маленьким ребенком. Я жадно курю и говорю Ахмету:

— Ладно, друг, не плачь. Как-нибудь поправим дело. Бери давай письмо, пойдем к начальнику штаба, может отпуск дадут тебе, домой на недельку отпустят.

Солдаты поддерживают Ахмета:

— Ну, как по такому делу не пустить...

Мы, солдаты, понимали горе Ахмета. Когда он ушел в штаб хлопотать об отпуске, Андрюшка Шарагин обошел окопы, и солдаты набросали ему целую шапку денег. Давали охотно. Солдаты понимали горе Ахмета. Но в штабе, несмотря на убедительные просьбы и слезы Ахмета, ему отказали в отпуске.

Вернувшись из штаба, Ахмет отвечал скупо:

— Сволочь там сидит.. Сволочь. Я и просил яво, я и плакал, я и в ногах яво валялся — не пустил.

Мы утешаем Ахмета, советуем ему не падать духом, но он и слушать нас не хочет.

— Эх, ребята! — машет он рукой. — Что вы миня сказка-то поете, а?

Прошла неделя. Однажды, вернувшись утром из «секрета», мы не нашли Ахмета.

На четвертый день его поймали. Не зная дороги, он плутал эти дни по фронту, и его задержали в обозе, верстах в сорока пяти от позиций.

В ночь перед наступлением нас погнали рыть

окопы. Рыть пришлось на открытом поле, на виду у немцев. Работали всю ночь. А утром, когда окопы были вырыты больше чем наполовину, нас заметил немецкий дозор и открыл пулеметный огонь.

Ахмет работал рядом со мной. Услыша выстрелы, он притаился, поглядел на меня, выругался и далеко-далеко швырнул свою лопатку.

— Ты что, Ахмет?!

— Э-э-э, что! Дома миня детишка голодный, по миру ходит, а я тут — могилка себе копаем...

Вытирая рот, Ахмет высморкался и сел на землю.

— Хватит! Моя больше не воюет!

— Что-о? — подбежал к Ахмету распоряжавшийся работами Пигузов.— Ты что это, Галеев?

— Ничаво! — огрызнулся Ахмет.

— Почему не роешь?

Вскочив, Ахмет вырвал у меня лопатку и, тыча ею в живот Пигузова, захлебнулся яростью:

— А-а-а! Тебя рыть надо? На, бери моя лопатка, рой. Вот, а миня — не надо.

Пигузов удивленно поглядел на Ахмета и даже отступил шага на два назад.

— Га-а-л-е-ев!

Ахмет не дал договорить ему. Брызгая слюной и размахивая перед носом офицера кулаками, он закричал:

— А-а, Галеев! Когда миня на деревне-то беда, я отпуск просил, миня не давал. Стрелять вас надо!

— Что-о-о? — побагровел Пигузов.— А ну на брустверь!

Ахмет спохватился, побледнел и испуганно забормотал:

— Нет— нет! Моя нарочно говорил... Прощай миня.

— На бруствер!

Ахмет дико завизжал:

— Тогда стрели меня... Вот здесь стрели!

Но Пигузов был невозмутим. Сжимая кулаки, он подошел ближе и двинул Ахмета по загривку.

— Арш, сукин сын, на бруствер!

Покорно, как автомат, Ахмет повернулся и, что-то шепча, вылез из окопа на бруствер.

Проходят минуты. Ахмет с осунувшимся зеленовато-серым лицом, с помутившимся взглядом все еще стоял на бруствере. И постепенно чувство страха сменилось безнадежной тоской и усталостью. Лицо у него покрылось пóтом; кончик носа заострился, как у покойника, губы запеклись, глаза подернулись какой-то мутной пленкой...

Глотая обильную слюну, Ахмет тихонько шептал:

— А-а-й, Суфья... Эх, Ибрай, Ибрай...

Немцы, увидя Ахмета, приняли его, видимо, за наблюдателя и открыли стрельбу. Ахмет вздрогнул.

— Ой, алла! Ай, алла, л-ля-илла...

Выстрелы со стороны немцев стали чаще. Ахмет дрожал. В это время откуда-то выскочил Андрюшка Шарагин и, размахивая шапкой, высунулся из окопа:

— Эй, камрады! Камрады, не стреляйте...

Ахмет встрепенулся, засмеялся каким-то сухим, трескучим смехом и тоже закричал:

— Не надо! Не надо стрелять...

— Кто кричал? — подбежал к нам Пигузов.— Что это такое? С неприятелем сноситься! Да я вам! Я вас...

Ахмет присел на корточки, спустил в окоп ноги и неожиданно тяжело упал на дно окопа. На затылке у него чернела маленькая дырочка. Крови вытекло мало. Шальная пуля, чорт ее знает откуда прилетевшая, пригвоздила Ахмета.

9

Над окопами вставало холодное осеннее утро. Пахло кровью и трупами. Ветер приносил откуда-то этот острый, противный запах мертвецов, заполнял им окопы, блиндажи, заставляя зажимать носы живых солдат.

В это утро немцы открыли по нашим позициям артиллерийский огонь из тяжелых орудий.

И вот под этот огонь я решил подставить самого себя, чтобы избавиться от жизни, которая стала для меня ненужным бременем.

Шарагин, заметив, что со мной творится что-то неладное, глаз с меня не спускал. Караулил. Но разве можно укараулить человеческую мысль? И я, улучив минуту, бросил винтовку, крикнул: «Прощай, ребята!» — и, прежде чем ребята смогли сообразить, понять и остановить меня, выпрыгнул из окопа, распахнул шинель и почти бегом пошел вперед.

Впереди меня — ад. Я иду навстречу этому аду. И вдруг, я и сам не знаю — как это случилось, у меня потемнело в глазах, закружилась голова и разом исчезло поле, фронт, война, окопы...

...Цветет весна. Надо мною голубое, безоблачное небо. Светит солнце. Тепло. Весенний воздух будто крошит какими-то золотыми нитями.

Я в лугах. Над ослепительно яркой зеленью трав живыми цветами порхают бабочки; мимо

меня, словно разноцветные лепестки, проносятся, трепеща своими крылышками, стрекозы, поют птицы, жужжат золотистые пчелы, трещат кузнечики... И среди этой красоты, путаясь в высокой траве и переваливаясь словно утенок, ко мне бежит моя дочь Валя.

Бежит девочка, бежит моя Валюшка, блестя своими голубыми глазенками, с цветами в русой головенке, бежит, спотыкаясь, падая, протягивает ко мне свои ручонки и лепечет:

— Пап-ка! Пап-ка! Не надо, не надо, папочка...

— Валя! Дочь! Милая моя малютка...

Жить! Во что бы то ни стало — жить! Жить для тебя, жить для своих товарищей.

Жить хотел. А сам лежу на поле сражения, под орудийным огнем, в одной секунде от смерти и ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. Лежу и сквозь грохот сражения слышу чей-то голос:

— Ваня! Ванька...

Машинально поворачиваю голову, вижу: ко мне ползет Шарагин. Я обрадовался, улыбаюсь, кричу:

— Андрюшка! Андрюшка! Шарагин!

Шарагин взял меня за ноги и поволок.

Снова в окопах. Лежу в блиндаже. Дрожит и осыпается со стен блиндажа земля. Шарагин поит меня водой, ругается:

— Дурак! Ну и дурак ты, Иван! Куда полез? Что было надо? Протестуешь? Чорт! Разве это протест! Бороться надо, а не умирать. Да-да! А так, как ты — это подлость, Ванька.

Я смотрю на Андрюшку и виновато улыбаюсь.

10

Была ночь. Еще не открывая глаз, я почувствовал тяжелый, одуряющий запах.

Открываю глаза. Темно. Под потолком горят керосиновые фонари. Света мало. Но можно различить, как по бараку ходят люди в белых халатах.

С трудом поворачивая голову, гляжу по сторонам. Около и вокруг меня, на грязной, издающей зловоние соломе, на шинелях, просто на земле лежат раненые. Они кричат, мечутся, воют....

Так проходит ночь. К утру раненые успокаиваются. Тихо.

Утром нас повезли на какой-то железнодорожный полустанок, для отправки в тыл.

До полустанка верст сорок. Дороги российские: кочки, ухабы. Раненых клали штабелями — чуть ли не по два ряда на телегу. Но и при таком уплотнении транспорта не хватало, человек двести особенно тяжело раненных пришлось бросить на произвол судьбы.

Раненые сначала просили ехать тише. Кричали. Потом затихли, и по грядкам телег только мертво стукались руки, ноги и головы солдат.

Когда транспорт раненых прибыл на полустанок, на телегах оказалось несколько мертвецов. Пока выгружали, умерло еще двое. Их похоронили тут же, за полустанком, в общей братской могиле. А нас, оставшихся в живых, разместили в помещении вокзала и в каких-то лабазах, где было много крыс.

Вечером нас накормили скудным ужином, перевязали раны и начали укладывать спать. Но раненые не спали. Они стонали, охали, ругались и

проклинали и жизнь, и самих себя, и все на свете.

И только Эммануил Зиновьевич, военный доктор, не падал духом. Слегка покачиваясь, он ходил между рненьми, мурлыча себе под нос какую-то песенку, шутил, улыбался и всем обещал скорое выздоровление.

11

Утром, блестя зеркальными окнами и голубой краской пульмановских вагонов, к полустанку подошел санитарный поезд.

На каждом вагоне золотом букв было написано:

«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
Санитарный поезд имени ее величества государыни императрицы Александры Федоровны».

Поезд стал. Бесшумно открылись двери. Из вагонов, в белых халатах, с красными крестами на рукавах и на груди, вышли милосердные сестры. За ними — врачи, санитары, поездная прислуга. Они обошли полустанок, осмотрели раненых, посоветовались с нашим врачом, и какой-то военный отдал распоряжение грузить раненых в вагоны.

Началась погрузка. Ко мне подошли двое здоровых санитаров и, улыбнувшись, подняли носилки и понесли меня в третий от паровоза вагон. Осторожно поставили. Я бегло огляделся и искренне обрадовался.

— Эх, как хорошо...

И на самом деле было хорошо. Поезд блестел чистотой. Стены вагона окрашены белой, под

лак, краской. Направо и налево — подвесные пружинные койки. На койках — чистое белье. Под потолком — электросвет...

Было непривычно и стыдно ложиться на эти чистые и мягкие постели. Но когда санитары подняли и положили меня на верхнюю койку, когда рядом со мною легли такие же, как и я, вшивые и грязные солдаты, то чувство стыда уступило место покою и наслаждению.

На полустанке ударил колокол. У раненых вырвался единый вздох:

— Поехали!

— Слава тебе, господи, поехали...

Где-то в хвосте поезда просвистел обер-кондуктор. Ему ответил гудок паровоза. Еле слышно качнулись вагоны, и поезд тихо тронулся в путь.

— Прощайте, окопы! Война — прощай!

Да. Фронт, страдания, окопы, смерть остались там... Мы едем в тыл, едем под защитой «Красного креста», под международным символом милосердия. Никто не посмеет теперь нарушить наш покой.

Фронт остался позади. Не слышно ни выстрелов, ни взрывов. За окнами вагона — зима. Снег запушил окна.

А как приятно смотреть на этот чистый, не истоптанный солдатскими сапогами и не политый кровью солдатской снег!

Едем. В вагоне покой, тишина. Клонит ко сну. Разговаривать не хочется. Только изредка кто-нибудь застонет или забормочет в бреду — и опять тихо. Только монотонно, убаюкивающе постукивают колеса на стыках да, пружинясь, покачиваются койки.

В какой-то полудремоте я прислушиваюсь к это-

му постукиванию, и вдруг до сознания внезапно доходит, что в песню колес вплелся какой-то новый, посторонний звук.

Прислушиваюсь. Что-то до жути знакомое и неприятное. Стараюсь уловить, что за звук. Ах, да! Да, да, я не ошибся: молотилки в деревнях так гудят!

В вагоне сделалась суматоха.

— Аэроплан! Аэроплан немецкий!

— Не бойтесь! Не бойтесь! — дрожит чей-то голос за перегородкой.— Нас не тронут! Наш поезд — санитарный. Он не имеет права нас тронуть. Тише! Успокойтесь... Это международный закон! Какая бы ни была война — санитарные вагоны, поезда под Красным крестом неприкосновенны.

Несмотря на красный крест, нарисованный на боках и на крышах вагонов, немецкий самолет нагнал наш поезд и бросил на полотно и на вагоны двенадцать бомб.

Мы ждали этого. Ждали долго, напряженно — и все же двенадцать громовых ударов были неожиданностью.

Поезд стал. Кое-кого из раненых сбросило с коек на пол. Многие соскочили сами и в паническом ужасе бросались к дверям. Кто-то рыдал. Кто-то ругался. Кто-то смеялся безумным смехом.

— Не надо! Не надо! Это так. Это так...

Аэроплан напал на нас, когда поезд на крутом закруглении брал подъем. Две или три бомбы попали в середину состава. Воздухом от взрыва выбило стекла — и мне сквозь худое окно была видна вся картина катастрофы.

Хвост поезда — пять или шесть вагонов, битком набитых ранеными, покатился под уклон.

Забыв про рану и про опасность, я высунулся

из окна вагона и, затая дыхание, смотрел на последний, на смертный путь своих товарищей.

Вагоны идут. Все быстрей и быстрей... Вот они добежали до поворота. Передний вагон валится на бок. Второй, вздирая вверх колеса, встал, будто конь, на дыбы. На него лезут другие... Лязг. Звон. На пути и под откосом насыпи чернела только груда обломков — бесформенных, жутких...

Да в сером зимнем небе пласталась серая птица, принесшая нам ужас и смерть.

Художник А. Ермаков Отв. редактор М. Колосов Тех. редактор Н. Сазонов Корректор Б. Слуцкая Уполномоченный Главлита № А 13286 Тираж 10 000 экз. С. П. № 166 Сдана в производство 2 апреля 1939 г. Подписана к печати 1 июля 1939 г. Колич. печ. листов 5 1/2 Колич. печ. знаков в листе 50620 Учет.-изд. лист. 7,26 Бумага 70×90 с/м 1/32 Заказ № 1061
Цена 2 р. 50 к. Переплет 1 р.

Типография газеты „Правда“ имени Сталина, Москва, ул. „Правды“, 24.

3 РУБ. 50 КОП.

827:46